

Викентий Викентьевич Вересаев

**К жизни**

# Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .....	0004
ЧАСТЬ ВТОРАЯ .....	0178
1908 ПРИМЕЧАНИЯ .....	0244

**Викентий Викентьевич  
Вересаев**

**К жизни**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Окороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем.

У меня много беготни и хлопот по району, редко приходится бывать дома. Алексей меня ни о чем не спрашивает, со смешным, почтительным благоговением относится к тому таинственному, что я делаю; с суетливою предупредительностью встречает входящих ко мне. Что-то есть в нем странно-детское, хоть он мне ровесник. Когда я иду куда-нибудь, где есть хоть маленький риск, он молча провожает меня любящими, беспокойными глазами. Очень мы разные люди, а ужасно я его люблю.

Выпустили также многих товарищей. Выпустили, говорят, и Иринарха. Попался в сети, как лягушка среди карасей, а просидел три

месяца.

Всегда мне странно и смешно бывает, когда приходится зайти к Катре. Каждый раз в другом платье, необычном, каких никто не носит, как будто в маскараде, а между тем странно идет к ней. И прическа, и все. И думаешь: "Эге! Вот еще какая у тебя красота!" И думаешь: "Господи! Сколько на это трудов кладется! Вот тоже – труженица!"

У нее сидел за кофе Иринарх. Расцеловались с ним. Он рассеянно положил себе горку сухарей и продолжал говорить:

– Да, так вот... Ужасно было интересно в тюрьме. Я прямо жалел, когда выпустили. Эти мужички с недоумевающей мыслью в глазах. Рабочие, как натянутые струны. Огромнейшая книга жизни. Евграфову видел, – интересно. Бледная, с горящими глазами, настоящая христианская мученица, с огромною трагической жизнью в душе. А заговорит, – боже мой! Любовь к людям, избавление их от страданий, социалистический строй... И чем бы она жить стала в этом будущем благолепии!.. Удивительно, как люди не умеют жить насто-

ящим! Такое яркое, интересное время, никогда лучше не бывало. А они все о каком-то будущем. Хорошо у Ибсена сказано: "Ненавижу я это вялое слово – будущее!.."

Что-то в Иринархе было новое, какая-то найденная идея. Глаза светились твердым, уверенным ответом, а раньше они смотрели выжидающе, со смеющимся без веры вопросом.

Но я спешил.

– Катерина Аркадьевна, можно вас попросить на пару слов?

Мы вошли с нею в гостиную. Наедине обим было неловко, – встало то странное и жуткое, что недавно так тесно на минуту соединило нас. Как тогда, ее чуть слышно окутывал весенне-нежный, задумчивый запах тех же духов. И в воспоминании запах этот мешался с запахом керосина и пыли.

– Можете вы нам дать послезавтра квартиру?

В ее глазах мелькнули усталая скука и насмешка.

– Опять будете препираться о "текущем моменте"?.. Хорошо...

– Благодарю вас.

Товарищи расходились. Окурки торчали в земле цветочных горшков; в тонком аромате гостинной стоял запах скверного табаку. Оставались только я с Алексеем, Турман и Дядя-Белый.

Вдруг вошла Катра – любезная, радушная. Она поздоровалась и стала звать нас ужинать. Турман и Дядя-Белый с недоумением оглядывали ее, стали отказываться. Катра настаивала. Они усмехнулись, пожали плечами и пошли в столовую.

Там опять сидел Иринарх. Как всегда, он сейчас же овладел разговором. И у него был всегдашний странный его вид: на губах улыбка какого-то бессознательного юродства, в наклоненной вперед крутолобой голове что-то бычачье и как будто придурковатое, а умные глаза наблюдающе приглядываются.

– В воздухе носится это решение – любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Григ, Гамсун, Толстой, Достоевский, – с разных концов, мыслью, художественным чутьем, – все приходят к тому же: к пониманию громадной

ценности жизни как она есть. Особенно в этом отношении великолепен Лассаль. Он впитал в себя все разрозненные элементы, носившиеся в воздухе, и вырос в истинного человека. Мы наивно ищем блага в будущем, ищем в религии веры в сохранение ценности жизни, – это верно определяет Геффдинг. А ценность-то жизни, а благо-то это – кругом. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.

Турман молча сидел, заложив руку за пояс блузы, непрерывно курил и своим темным взглядом смотрел на Иринарха. Дядя-Белый внимательно слушал.

Иринарх обратился к ним:

– Скажите, пожалуйста, вы вот боретесь. Много терпите в борьбе. Стремитесь к чему-то... За что вы боретесь? К чему стремитесь?

Дядя-Белый поднял брови и слегка усмехнулся.

– К чему? Вам бы это должно быть известно.

– Простите, я совершенно серьезно говорю: мне неизвестно.



– К тому, чтоб всем было хорошо.

– А зачем нужно, чтоб всем было хорошо?

Дядя-Белый с удивлением смотрел. Иринарх ждал со скрытою улыбкою, как будто он знал что-то важное, чего никто не знает.

– Не понимаю вас.

– Что значит "хорошо"? Чтоб была свобода, чтоб люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всем своим потребностям, чтоб были "счастливы"?

– Ну да!

– Гм! Счастливы!.. Шел я как-то, студентом, по Невскому. Морозный ветер, метель, – сухая такая, колющая. Иззябший мальчугашка красною ручонкою протягивает измятый конверт. "Барин, купите!" – "Что продаешь?" – "С... сча... астье!" Сам дрожит и плачет, лицо раздулось от холода. Гадание какое-то, печатный листок с предсказанием судьбы. – "Сколько твое счастье стоит?" – "П-пятачо-ок!.."

Иринарх удивительно изобразил мальчика, – так и зазвенел плачущий, застуженный детский голосок.

Турман шевельнулся на стуле и враждебно оглядывал Иринарха.

– Он на этот пяточок сыт стал!

– Верно. А все-таки цена-то его счастью – "пя-та-чо-ок!" Сыт – разве же это счастье?.. А что даст будущее, если оно, боже избави, придет? Вот этот самый пяточок. Разве же за это возможна борьба? Да и как вообще можно жить для будущего, бороться за будущее? Ведь это нелепость! Жизнь тысяч поколений освящается тем, что каким-то там людям впереди будет "хорошо жить". Никогда никто серьезно не жил для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем.

Я сдержанно спросил:

– В чем же это благо?

– В чем!.. Оно так ясно, так очевидно, – его можно определить строго математически, как звук или свет. Чем определяется звук, свет? Числом и размахом колебаний в секунду. Целиком так же определяется и благо. Радость – великолепно! Страдание – великолепно! Радость – страдание! Радость – страдание! Быстрее, ярче, сильнее! Раз-раз-раз! А мы страдания боимся, проклинаяем его. Утешаемся будущим, когда страдания не будет... Как

верно Шопенгауэр сказал: "После того как человек все страдания и муки перенес в ад, для рая осталась одна скука".

Катра слушала и внимательно наблюдала товарищей. Раза два она искоса взглянула на меня, как будто вызывала: ну-ка, возразите!

Иринарх говорил словно пророк, только что осиянный высшею правдою, в неглядящем кругом восторге осияния. Да, это было в нем ново. Раньше он раздражал своим пытливо-недоверчивым копанием во всем решительно. Пришли великие дни радости и ужаса. Со смеющимися чему-то глазами он совался всюду, смотрел, все глотал душою. Попал случайно в тюрьму, просидел три месяца. И вот вышел оттуда со сложившимся учением о жизни и весь был полон бурлящею радостью.

Он продолжал:

– О-ох, это будущее! Слава богу, теперь сами все в душе чувствуют, что оно никогда не придет. А как раньше-то, в старинные времена: Liberte! Egalite! Fraternite! [Свобода! Равенство! Братство! (франц.)] Сытость всеобщая!.. Ждали: вот-вот сейчас все начнут целоваться обмякшими ртами, а по земле полетят жаре-

ные индюшки... Не-ет-с, не так-то это легко делается! По-прежнему пошла всеобщая буча. Сколько борьбы, радостей, страданий! Какая жизнь кругом прекрасная! Весело жить.

Турман опять двинулся на стуле. Он тяжело бросил на Иринарха свой темный взгляд и злобно усмехнулся.

– Весело... Очень весело! Спасибо вам, господин, за такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!

– Тяжело? Боритесь! Поднимайтесь выше!

Турман в изумлении и негодовании смотрел на него.

– Индюшки полетят?.. Полетят индюшки?.. Пятачок будет?.. Говорите: боже избави?

– Боже избави! – твердо и решительно ответил Иринарх.

– Не надо этого?

– Не надо.

– Надо! – крикнул Турман. Он, задыхаясь, наклонился над столом и пристально смотрел в глаза Иринарху. – Вот что я вам заявляю: надо, чтоб это пришло через десять – пятнадцать лет. Слышите? – Турман грозно постучал ладонью по столу. – Через десять –

пятнадцать лет, не дольше!

Он встал и оглядывал всех, как будто вдруг проснулся и увидел кругом незнакомых людей.

– Вы, господа, – интеллигенция, вы понимаете социологию. Мы ее мало понимаем. Может быть, по научным там всяким законам мы людьми станем через сотню лет... Так врите нам, а говорите, что это близко. А то слишком скверно жить. Нам скверно жить, невозможно жить, а не "весело"!

Дядя-Белый все время с недоумением слушал Иринарха, – слушал, мучительно наморщив брови, стараясь понять. Он раздумчиво заговорил:

– Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего в ней веселого нету. Все время от всех зависишь, – раб какой-то. Сегодня на работе, а завтра сокращение, завтра не потрафил мастеру, шепнули из полиции, – и ступай за ворота. А дома ребята есть просят... Унижают эти страдания, подлецом делают человека...

Иринарх просиял торжеством.

– Вот, вот это самое!.. Есть страдания, которые унижают, и из них рвется человек к дру-

гим страданиям, к тем страданиям, которые...

Турман не слушал. Он взволнованно метался по комнате, отыскивая свою фуражку. Отыскал, остановился боком и теми же проснувшимися глазами окинул богатую сервировку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его из кресла.

– Что будет! – прервал он Иринарха. – В морду всем можно будет засветить. Всем, кто того стоит! Вот что будет!.. Сенька, пойдем! Пойдем, Сенька, не оставайся!

– Да, пора идти. – Дядя-Белый грустно поднялся.

Турман искоса бросил на меня выжидающий взгляд. Они ушли.

Иринарх ходил по комнате и в восторге потирал руки.

– Но ведь этот черный – это великолепнейший хищный зверь! Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет свои коготки! Ну и что, что такому делать при всеобщем благополучии? Ведь именно ненависть-то эта и наполняет его жизнь огромнейшим содержанием! Ужасно он много дал для моей мысли... И как характерно: люди

стремятся – и совершенно не понимают: к чему? Теряются, не могут ответить. Огромное стремление, а впереди – только какой-то смутно-золотистый свет. Удивительно, как это у вас нет пророков. Ведь именно при таких-то условиях они и должны бы греметь.

Мы с Алешей уходили. Катра со скрытою насмешкою следила за мною. В передней она спросила:

– Отчего вы ничего не возражали Иринаруху Ильичу?

Я насупился.

– Разве можно было ответить лучше, чем ответил Турман?

– А я думаю, вам просто нечего было возражать, – презрительно и устало сказала Катра.

Я пожал плечами.

Мы шли домой. На душе было весело. Не люблю я Катры – и как она бесится, что на все ее вызовы я отвечаю вежливым молчанием!

Алексей все споры слушал с странно-пристальным, принимающим к сведению вниманием. Мы шагали по тропинке среди сугробов. Он сдержанно спросил:

– А какой же ты смысл видишь в настоя-

цем? Оно имеет значение только в виду будущего?

– Да как это можно разделять? Будущее, настоящее... Все равно что стараться ножом отделить в организме жизнь от материи. Жизнь радостна, прекрасна, потому что освещена будущим и, конечно, дай бог, чтобы будущее как можно скорее пришло... Какой-то разврат душевный копаться в этом. Болтун! Почему же он ничего не делает?

Алексей замолчал и не возражал.

Как огромные струны, еще пели приводные ремни. Поддрагивали стены, и быстрые отсветы мелькали по стальным рычагам. Но люди толпились в середине, и подходили все новые из других мастерских.

В замасленной блузе рабочего я говорил, стоя на табурете. Кругом бережным кольцом теснились свои. Начал я вяло и плоско, как заведенная шарманка. Но это море голов под мною, горящие глаза на бледных лицах, тяжелые вздохи внимания в тишине. Колдовская волна подхватила меня, и творилось чудо. Был кругом как будто волшебный сад; я раз-



брасывал горсти сухих, мертвых семян, – и на глазах из них выростали пышные цветы братской общности и молодой, творческой ненависти.

Когда приходишь домой, – из большого, яркого мира вдруг попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смирное. Алеша сидит в своей накуренной комнате, сторбившись над столом. Моя комната большая, а его – очень маленькая. Он ее выбрал себе, – уверял, что любит тепло. Но сделал он это по своей обычной упорной деликатности.

Сидит он за маленькой лампочкой с бумажным колпаком и старательно пишет. Красиво пишет своим аккуратным почерком конспект прочитанной книжки. Если что нужно вычеркнуть, он вырывает из тетрадки всю страницу и переписывает. Конспектирует и ничтожнейшие брошюры. Часто мне в голову приходит вопрос, – чем он живет? Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда он не смотрит в глаза – даже мне, двоюродному своему брату, а мы с детства росли вместе. Ничем особенно не интересуется. Чи-

тает мало, принуждая себя, то, что я уж очень расхвалю. В комнате у него так все аккуратно разложено, так чисто. Это всегда признак бедной духовной жизни.

Пьем с ним чай. Своим всегда неестественным голосом он говорит, не глядя в глаза:

– Ходил сейчас ко всенощной к Спасу, слушал шестопаловских певчих. Вот здорово поют! Особенно "Свете тихий". Чудная у них новая октава. Шестопалов недавно привез из Мценска... После всенощной зашел к Маше. Нет, она действительно ненормальна, это несомненно.

– Опять тетя Юля ваша мутит?

– Заявила, что Маша ей мешает спать по утрам, когда встает. И Маша из большой комнаты перебралась в переднюю. Там спит. Говорит, великолепно. А от двери дует черт знает как!.. Положительно, сама себя она валит в могилу.

Алеша украдкой глядит на меня и осторожно спрашивает:

– Ты не зайдешь к ней?

Ох, эти родственные обязательства. Я морщусь.

– Да некогда, дела много.

Алеша темнеет. В нем вообще очень силен семейный патриотизм, а сестру Машу он любит с восторженным умилением. Перемогая себя, сам тяготясь своею настойчивостью, он говорит коротко:

– Шестого ее рождение.

– Ну, зайду тогда.

Алеша благодарно глядит.

В освещенных, завешанных тряпками оконцах флигелька метались тени. Мы с Алешей стояли на крыльце двора.

– Ты верно видел, пьян он?

– Пьян.

– Ну, значит, бьет.

Когда Гольтяков пьян, его охватывает буйная одержимость, он зверски колотит Прасковью. Она – худенькая, стройная, как девочка, с дикими, огромными глазами. У меня и у Алеши жалостливая влюбленность в нее. Мучают и волнуют душу ее прекрасные, прячущие страдание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знают, что с нею делает муж, а она смотрит с суровым недоумением и резко об-

рывает сочувственные вопросы.

Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. В флигельке звучали заглушенные стоны, отчаянно плакал ребенок... И нельзя ничего сделать, нельзя броситься на помощь!

Да, учит жизнь! Сколько раз за этот год, в самых разнообразных случаях, приходилось переживать вот это самое, – стой, стиснув зубы, когда тянет броситься вперед, – гнусно кипи и перекипай внутри себя.

Вздымаются волны все выше. Весело жить! Работы страшно много, беготня с утра до вечера. К циглеровцам присоединяются все новые и новые заводы.

Вчера примкнули староносовцы, где Дядя-Белый. Через три дня предстояла получка. Дядя-Белый предложил присоединиться после получки. Поднялись крики, упреки!

– Трус! Предатель... Сейчас же все бросай работу!

И с песнями ушли из мастерских. А присоединились только из сочувствия.

Забежал к Катре, попросил вызвать ее. Гор-

ничная сказала, что выйти она не может, а просит к себе.

В "будуаре", – кажется, так это называется, – сидели толстый адвокат Баянов и приезжий из столицы юноша. Катра с радостной улыбкой встала навстречу. Какая-то особенная у нее улыбка, – медленная и яркая: всю ее эта улыбка освещает изнутри.

Я сказал, что спешу. Она как будто не слышала, усадила меня. Почему она не могла ко мне выйти?

Юноша неестественно-поющим голосом читал стихи. Гибкие, певучие звуки баюкали внимание, трудно было понять, о чем речь.

Я пересидел стихи, подошел к Катре. Смеясь глазами, она взяла меня за локоть и сказала:

– Пожалуйста, посидите четверть часа, – мне нужно с вами поговорить.

Юноша еще читал стихи. Шла речь о каких-то неслыханных "дерзаниях", о голых женских телах, о громовых беседах с "братом-солнцем":

Брат мой солнце! Ясный, ярый,  
Пьяный жаром старший брат!

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные влажные пальцы. На что, кроме пакости, способен "дерзнуть" этот заморыш! Девочку растлить, обольстить и бросить с ребенком горничную, – другого никак я не мог себе представить.

– Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзание и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним. А Катра заметно увиливала от разговора наедине. Ее глаза почти нахально смеялись надо мною. Мне стало досадно, – чего я жду? Встал и пошел вон.

Катра вышла следом. Я молча надевал пальто.

– Погодите, ведь вам что-то было нужно?

Я презрительно ответил:

– Вам, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До свидания.

Катра вспыхнула.

– Вы воображаете, я боюсь... Что вам нужно?

Я сказал.

– Хорошо, я согласна.

– Так я пришлю Алешу.

Катра с враждебной и вызывающей насмешкой взглянула на меня.

– Знаете, Константин Сергеевич, – я согласна только потому, чтобы вы не воображали, будто я боюсь... А все это до тошноты противно, скучно и пошло. "Транспорт"... Зачем целый транспорт, когда всю вашу литературу можно пронести в жилетном кармане? "Эксплуатация", "классовая борьба", "организация", "предательство буржуазии"... Господи, и неужели кто-нибудь читает это!

Много шелухи поднялось в воздух с ураганом, грозно загудело в нем – и бессильно упало наземь, когда ураган стих. Я думал, Катра не из этих. Но и она как большинство. Ее радостно и жутко ослепил яркий огонь, на минуту вырвавшийся из-под земли, и она поклонилась ему. Теперь огонь опять пошел тем-

ным подземным пламенем, – и она брезгливо смотрит, зевает и с вызовом рвет то, чем связала себя с жизнью.

А был миг. Я его не забуду. Сквозь мою вражду к ней, сквозь презрение к ее переметчивости этот странный миг светится в воспоминании, как вечерняя звезда в узком про свете меж туч.

Толпы дико побежали по Большой Московской. Все ворота и калитки были предательски заперты. Пали люди. Я вырвал Катру из топчущего, мчащегося человеческого потока; мы прижались к углублению запертой двери.

Бледный мальчик, прижимая руку к боку, набежал на нас.

– Ай-ай-ай-ай!.. Настоящие пули!

– Мальчик! Сюда иди, сюда!

Он непонимающими глазами оглядел меня и побежал дальше и повторял:

– Настоящие пули!

Наискосок через улицу, наклонившись, бежал под пулями Иринарх и закрывал голову поднятым локтем, как будто над ним вился рой пчел. Из Ломовского переулка, как шака-



лы, выглядывали молодцы лабазника Судоплатова с дубинками.

Подбежал студент с простреленной рукой. Эсер – он не раз выступал против меня на митингах. Ухватившись за косяк, он безумно смотрел, как судоплатовцы с воем и свистом ринулись наперерез бежавшим, как замелькали в толпе их дубинки.

Сзади нас была железная дверь какого-то подвала. Висел замок. Я дернул, – он не был заперт. Быстро я отодвинул засов.

– Товарищи! Сюда!

Мы с Катрою проскользнули в дверь. Но студент стоял как околдованный и все смотрел.

– Да идите же, товарищ! Скорее, а то увидят!

Я втолкнул его в подвал, замкнул дверь. Крутые каменные ступеньки шли вниз. Громоздились до потолка пыльные бочки, деревянная скамейка пахла керосином. Странно-тихо золотились пылинки в узком луче солнца. На улице трещали револьверные выстрелы и молниями прорезывали воздух вопли избиваемых.

По рукаву студента текла кровь.

– Вы ранены. Садитесь, перевяжем.

Как в гипнозе, он сел. Катра засучила ему рукав, стала перевязывать носовым платком рану. В замершем порыве студент безумными глазами смотрел на дверь, и душа его была не здесь.

Затопали ноги, со стоном грохнулся кто-то за дверью.

– За что бьете?.. Злодеи!.. ааа-аа!!

Студент рванулся, роняя на пол окровавленный платок.

– Боже мой, а я здесь сижу!.. Пустите меня!

– Сидите, товарищ!

– Пустите! Господи, какие мы подлецы! Мы их звали, мы вместе с ними должны и погибнуть!

– Вы с ума сошли! Какой в этом смысл?

Он с презрением оттолкнул меня и бросился по крутым ступенькам к двери.

– Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!

– Мы должны с ними умереть!

Я его удерживал, но душу с дрожью вдруг охватил стыд и горький восторг. Лязгал под

руками студента отодвигаемый ржавый за-  
сов. Смерть медленно накладывала свою печ-  
ать на его бледное лицо. И вдруг преобрази-  
лось это лицо и вспыхнуло живым, сияющим  
светом. Он выбежал на улицу.

Громкий вызывающий крик, полный вос-  
торга и муки:

– Да здравствует!..

И топот ног. Рев человеческих гиен. И глу-  
хие удары.

Я неподвижно стоял. Мир преобразился в  
безумии муки и ужаса. Весь он был здесь, где  
золотой луч тихо вонзался в грудь пыльных  
бочек, где пахла керосином жирная скамейка.  
Кругом – кровавое, ревущее кольцо, а дальше  
ничего нет.

Из полумрака на меня смотрели огромные  
глаза с бледного, прекрасного, восторженного  
лица. Охватывал душу безумный восторг от  
какой-то чудовищной, недоступной уму прав-  
ды. Я взглянул на Катру.

Все было сказано без слов.

– Идем!

Огромные глаза ее все смотрели на меня.  
Грудь вздымалась, как будто не могла вме-

стить того, что открылось душе.

– Да. Идем... Погодите. Прощайте, товарищ!

В первый раз она сказала это слово "товарищ".

Руки раскрылись, мы обнялись и крепко поцеловались. В запахе пыли, керосина и кровавого ужаса от свежего лица пахло весенним запахом духов.

Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстреливали. Валялся у дверей аптекарского магазина пыльный труп в кроваво-черных обрывках студенческой тужурки.

Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, с визгом рикошетировали от камней.

– Товарищи! О боже мой... Товарищи!..

Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежал рабочий с простреленною ногой.

– Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О боже мой!.. Жена у меня, четверо ребят...

Я схватил его под мышки, приволок к ближайшему крыльцу. От соборной площади бежали с дубинками пьяные молодцы из холодных лавок. Катра метнулась к двери. Она была старая, на старом, непрочном замке.

– Смотрите! Можно выдавить!

Я ударил плечом, дверь распахнулась. Мы втащили раненого. В конце старенькой галерейки чернела обитая клеенкой дверь.

Раненый стонал. Перебитая нога моталась.

– Товарищ, тише! Сберите все силы, молчите! Услышат черносотенцы или из квартиры выйдут. А бог весть, кто там живет.

– О-о-о... Погодите!.. ну... Ну, вот!

Он вцепился зубами в полу пальто и замер, дрожа и всхлипывая.

Но клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выглянул седой, полный господин в тужурке отставного полковника.

– Это что такое?!

Он вышел и, бледнея, оглядывал нас.

– Сейчас же уходите! Что вам тут нужно?.. Уходите, уходите! Я не сочувствую революционерам!

Катра выпрямилась и смотрела на него темными, презирающими глазами.

– Здесь, полковник, не революционер, а раненый, вы сами видите. Пьяные дикари будут его сейчас добивать.

– Господа, господа... Это меня не касается...

Сейчас же уходите, я не могу.

Полковник волновался и прислушивался к крикам на улице. Катра в упор смотрела на него.

– Храбрый вы человек!.. Мы не пойдем. Вы толкайте нас.

Хороша она была в этот миг! Полковник сконфузился.

– Но согласитесь, господа... Ну, хорошо!.. Несите его скорее в квартиру!

Он суетливо запер наружную дверь на крюк. Мы потащили раненого в переднюю.

Грозно и властно зазвенел звонок. В дверь посыпались удары. Слышались крики. Полковник побледнел, оправил тужурку и пошел по галерее.

Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.

Слышно было, как полковник кричал и топал ногами.

– Не видите, кто я?.. Чтоб я у себя кого прятать стал? Вон!.. По телефону губернатору... Всех вас в тюрьме перегну!

Задыхаясь и отдуваясь, полковник воротился к нам.

– Негодяи этакие!.. Понесем его в спальню, там перевяжем. – Он с гордостью остановился перед Катрой и развел руками. – Ну-с! Надеюсь, вы меня теперь ни в чем не можете упрекнуть!

Катра удивленно взглянула на него.

– Но ведь вы были бы подлец, если бы поступили иначе!

Попал я к Маше на рождение только в десятом часу вечера. Алеша был там уже с обеда.

Маша радостно встретила меня, поцеловала долгим, умиленным поцелуем и благодарно прошептала:

– Спасибо, что пришел!

Большие кроткие глаза, и, как из прожекторов, из них льются снопы света. Алеша называет ее "Мадонна".

Сидела, приторно улыбаясь, их тетка Юлия Ипполитовна. Она обратилась ко мне:

– Костя, скажите вы: ну, разве идет Маше эта голубенькая кофточка?

– Очень идет.

Юлия Ипполитовна со снисходительной

насмешкою пожалала плечами.

– Не понимаю ее! Нарядилась, как шестнадцатилетняя девушка. Нужно же помнить свой возраст! Тридцать шесть лет исполнилось, седина в волосах – и светлые кофточки! Напоминает маскарад!

Маша добродушно улыбнулась и не ответила. Она угощала нас закусками, чаем, быстро говорила своими короткими, обрывающимися себя фразами. Юлия Ипполитовна брезгливо шевелила вилкой кусочки нарезанной колбасы.

– Маша, где ты брала эту колбасу? Шпек ужасно скверно пахнет.

Алеша угрюмо и резко возразил:

– Никакого запаха нет.

– Ну, может быть, мне кажется... Почему ты не берешь у Рейнвальда? Только там колбасы хорошие.

Она концами пальцев отодвинула тарелку и обиженно стала пить чай. Как удушливое облако, ее присутствие висело над всеми. Ждали, когда же она пойдет спать.

Пошла наконец. Маша зашептала:

– Господа, перейдемте в переднюю, поста-



вим там столик. Ну, тесно будет, а зато так хорошо! И тете не будем мешать.

Мы перенесли в переднюю стол, самовар. Я с упреком спросил:

– Ты здесь и спишь?

Маша поморщилась и быстро заговорила:

– Ну, господа, все равно... Не будем об этом говорить... Это мое дело... Все равно...

– Маша, да ведь ты губишь себя. Сама нервная, болезненная, весь день на уроках, – и даже отдохнуть негде в своей же квартире! Смешно: две комнаты на двоих, а ты живешь в передней.

– Ну, все равно... Господа, не говорите... Тете мешает утром спать, когда я встаю, а мне все равно...

– Мешает спать!

– У нее все время то мигрени, то невралгии. Трудно заснуть, и необходима тишина... А мне приятно, что я хоть что-нибудь могу для нее сделать. Только жалко, что приходится от вас жить отдельно.

– Да, нам бы еще тут с этим сокровищем жить! Я понимаю, что все ближайшие родственники отрещиваются от нее... Какая бес-

церемонность! "Шпек пахнет". Никто не просит, не ешь!

Маша умоляюще сказала:

– Оставим... Ну, пускай... Нужно либо все принять, либо совсем уж отказаться... – Она покраснела. – Своей семьи у меня нету. Вы выросли. А я чувствую такую потребность любить, всю себя отдать... Мне кажется, если бы тетя меня била, я бы еще нежнее ухаживала за нею.

– Черт знает что такое! Какой-то садизм филантропии!.. И для кого! Маша, ну разве ты не видишь кругом жизни? Ведь выше и нужнее всю себя отдать ей, а не какой-то Юлии Исполитовне!

Мы уж не раз спорили об этом.

– Ну, оставим, все равно... Я к вам не могу пойти. Вы слишком наружу смотрите. Под этим, глубже, у вас ничего нету. Поэтому все строите на ненависти. А нужно всех любить. И потом у вас – без бога.

– Этого бы еще недоставало!

И сейчас же я в ней почувствовал тот странный, внутренний трепет, который часто в ней замечал. Когда мы, еще гимназистами,

начинали спорить с ней о боге, Маша быстро говорила, с испуганно вслушивающимися во что-то глазами: не надо об этом говорить. Об этом нельзя спорить.

Она перевела разговор на другое.

Мы пили чай с миндальным печеньем, разговаривали и смеялись тихонько, чтоб не разбудить Юлию Ипполитовну. По отставшим от стен обоям тянулись зубчатые трещины. Задумчиво сидели, неожиданно явившись откуда-то, черные тараканы.

Понемножку со мною произошло обычное, – я не могу без скуки и колючего раздражения думать о Маше, а побудешь с нею – и вдруг мягче начинаешь принимать всю ее, с ее чуждою, но большою и серьезною душевною жизнью. Бедно одетая, убивает себя на уроках, чтоб Юлия Ипполитовна могла есть виноград и принимать лактобациллин. И какое-то светящееся оправдание жизни, с терпимым и любовным уважением ко всему.

Мы чуть слышно пели втроем песни, которые пели с Машею давно, еще мальчиками. Вспоминали, смеялись, говорили теми домашними словами, которых посторонний не

поймет. Было по-детски чисто в душе и уютно.

Алеша всегда чувствует себя у Маши тепло и свободно. Но сегодня он был необычно весел, острил, смеялся. Как будто тайно радовался чему-то своему. А в Машиных глазах, когда она смотрела на Алешу, была горячая любовь и всегдашний скрытый, болезненный ужас, – какой-то раз навсегда замерший ужас ожидания. Вот уже два года она смотрит так на Алешу. Это для меня загадка.

Когда мы шли домой, я спросил Алешу:

– Отнес к Катре?

– Отнес, конечно.

– Что она, не фыркала?

– Н-нет... – Алеша помолчал. – Ужасная чухиха! Вдруг спрашивает меня: "Отчего вы, Алексей Васильевич, никогда не смотрите в глаза?" И засмеялась. Очень весело и добродушно. Звала чаю выпить.

Он говорил небрежно, а весь сиял, вспоминая. Катра и его околдовала своею красотой. Бедный, как ему мало надо!

И несколько раз еще Алеша возвращался к своему визиту. Объяснял мне, почему он от-

казался напиться чаю, рассказал, как она по-  
жала ему руку.

На дворе, в белом сумраке ночи, у флигель-  
ка виднелась тонкая фигура. Мы вгляделись.  
В одном платье стояла изящная Прасковья.  
Она метнулась, хотела спрятаться, но как буд-  
то что вспомнила. Остановилась и недобры-  
ми глазами смотрела на нас.

– Чего это вы на холоду стоите, Прасковья  
Вонифатьевна?

Она оборвала:

– Так.

Гольтяков пьет запоем. Ясно, – пьяный, он  
выгнал ее на мороз и запер дверь.

Мы стали звать ее зайти к нам напиться  
чаю. Она сердито отказывалась, бросала пуг-  
ливые взгляды на темные оконца флигеля. И  
вдруг быстро пошла к нашему крыльцу, все  
не говоря ни слова.

Поставили самовар. С полчаса он нагревал-  
ся. Прасковья сидела на уголке стула, худень-  
кая, тонкая, и настороженно молчала. Чув-  
ствовалось, – заговори с нею, она сейчас же  
вскочит и убежит.

Мы предложили ей переночевать в Але-

пиной комнате, а он перейдет ко мне.

– Нет. Я в кухне посижу.

Всю ночь она просидела на табуретке в нашей кухоньке. Иногда выходила, поглядывала на беспощадно-молчащие окна флигелька и возвращалась.

Мне плохо спалось. Завтра – большая массовка за Гастеевской рощей, мне говорить. Нервно чувствовалась в кухне Прасковья с настороженными глазами. Тяжелые предчувствия шевелились, – сойдет ли завтра? Все усерднее слезка... Волею подавить мысли, не думать! Но смутные ожидания все бродили в душе. От каждого стука тело вздрагивало. Устал я, должно быть, и изнервничался! – такая тряпка.

Не могу рассказывать. Сжимаются кулаки...

А когда я возвращался, я столкнулся в калитке с Гольтяковым. Мутно-грозными глазами он оглядел меня, погрозил кулаком и побежал через улицу. На дворе была суетня. В снегу полусидела Прасковья в разорванном платье. Голова бессильно моталась, космы волос

были перемешаны со снегом. Из разбитой каблуком переносицы капала кровь на отвисшие, худые мешки груди. Хозяйка и Феня ахали.

Я остановился и смотрел, бессмысленно и неподвижно. Было в душе только тупое отращение и какая-то тошнота. Странно запомнились, вытесняя чудные глаза Прасковьи, эти жалкие мешки ее груди, в страдальческом безразличии открытые взорам.

Страшно усталый я лежал на кровати. В душу въедался оскоминный привкус крови. Жизнь кругом шаталась, грубо-пьяная и наглая. Спадали покровы. Смерть стала простою и плоскою, отлетало от крови жуткое очарование. На муки человеческие кто-то пошлый смотрел и тупо смеялся. Непоправимо поруганная жизнь человеческая, – в самом дорогом поруганная, – в таинстве ее страданий.

И вечно, вечно сжимайся, жди без конца, дави желание бешено броситься навстречу!

Пришел Мороз. Возбужденный, с вздувшеюся багровою полосой поперек лица. Он пил чай, жадно жевал булку. И, смеясь, рассказывал:

– Вьется надо мною, все хочет достать нагайкою. А я в канавку втиснулся и лежу. Видит, не выходит его дело, – хочет лошадью затоптать. А живая тварь, лошадь-то, не желает ступать на живого. Стал он меня тогда с лошади шашкою тыкать, – проколол бок. Пальто вот все изрезал. Ну, да не жалко: старое.

– Что старое?

– Пальто.

– Пальто?.. Мороз, голубчик!

Я расхохотался, вскочил и стал целовать его милое скуластое лицо.

– И сильно он вам пальто попортил? Вот негодяй! Давайте посмотрим. Да кстати и бок.

Глубоко изнутри взмыл смех и светлыми струями побежал по телу. Что это? Что это? Все происшедшее было для него не больше как лишь смешною дракою! Что в этих удивительных душах! Волны кошмарного ужаса перекатываются через них и оставляют за собою лишь бодрость и смех!

На боку оказалась царапина. Мороз сел зашивать просеченное пальто.

Пришли Наташа, Дядя-Белый, другие. Койкого не хватало. Пили чай. Рассказывали о пе-



режитом. Что-то крепкое и молодо-бодрое выросло из ужаса. То черное, что было в моей душе, таяло, расплывалось, недоумевая и стыдясь за себя.

От хохота было тесно в комнате. Осетин Хетагуров рассказывал своим смешным восточным говором, как он из чащи вскочил на лошадь к стражнику, выбросил его из седла в снег и ускакал. Желтоватые белки ворочались, ноздри раздувались. Странно было на его гибкой, хищной фигуре горца видеть студенческую тужурку.

– Пачыму вы смээтесь?

Он с недоумением оглядывал нас, и глаза при воспоминании загорались диким, зеленоватым огнем. Милый Али! Я помню, как в октябре он один с угла площади вел перестрелку с целою толпою погромщиков. И все какие милые, светлые! В одно сливались души. Начинала светиться жизнь.

Вышел из своей комнаты Алеша, сидел и почтительно слушал.

Я написал воззвание. Наташа и Мороз ушли печатать. Уходя, Мороз улыбнулся и крепко потрянул мою руку.

– А что, Сергеич! Скучно будет жить на свете, когда придет этот самый наш социализм!

Приехал доктор Розанов. Сразу все оживились. Почувствовалась властная, уверенная рука.

Его усиленно разыскивают, грозит ему недоброе. Но он приехал. Только бороду сбрил и покрасил волосы. Это смешно: огромная голова на широких плечах, глубоко сидящие зеленоватые глаза, давняя хромота от копыт казацкой лошади, – кто его у нас не узнает? Он две недели владел городом. Черносотенцы называли его "ихний царь".

Раньше он мне мало нравился. Чувствовался безмерно деспотичный человек, сектант, с головою утонувший в фракционных кляузах. Но в те дни он вырос вдруг в могучего трибуна. Душа толпы была в его руках, как буйный конь под лихим наездником. Поднимется на ящик, махнет карандашом, – и бушующее митинговое море замирает, и мертвая тишина. Брови сдвинуты, глаза горят, как угли, и гремит властная речь.

Я не мог решить, правильно ли он действу-

ет, я ничего не понимал в закрутившемся вихре. Но его стальная воля покорила меня, как и всех, я слепо шел за ним. Спокойно и властно он мог всех нас послать на смерть, – и мы бы пошли и верили бы, что так нужно.

И вот он теперь приехал.

– Иван Николаевич, это безумие!

– Скажите-ка лучше, что у вас там в комитете наерундили? Совсем меньшевистские повадки. Это все вас Наташа мутит.

С ночевками его вышла история. Решили поместить его у Катры и поручили мне попросить ее. Но что лезть к человеку, который отбивается и руками и ногами? Я решительно отказался. Тогда пошел к ней Перевозчиков. Навязчивостью и ложью он много достигает, – тою фальшивою "пролетарскою моралью", которую культивируют как раз интеллигенты. В Ромодановске он сидел в тюрьме; после долгих хлопот удалось уговорить одного адвоката внести за него залог; Перевозчиков сейчас же скрылся: "У этих буржуев денег хватит!" В квартире, данной нам буржуем, он пачкает сапогами диваны из презрения к буржую.

Катра приняла Перевозчикова высокомерно, высокомерно отказала, а в заключение прибавила:

– Пусть попросит Чердынцев, – тогда я подумаю.

С хохотом Перевозчиков рассказал это. Все хохотали, поздравляли меня с победой над сердцем декадентки. Ужасно было глупо, и я то понимал, что тут вовсе не "победа".

Пересилил себя, пошел. Катра встретила меня очень любезно, в недоумении пожимала плечами, сказала, что тут какое-то недоразумение. А глазами нагло смеялась. И отказала решительно.

Ночует Розанов там и сям. Раза два даже у Маши ночевал, в передней.

Есть люди, есть странные условия, при которых судьба сводит с ними. Живой, осязаемый человек, с каким-нибудь самым реальным шрамом на лбу, – а впечатление, что это не человек, а призрак, какой-то миф. Таков Турман. Темною, зловещею тенью он мелькнул передо мною в первый раз, когда я его увидел. И с тех пор каждый раз, как он прой-

дет передо мною, я спрашиваю себя: кто это был, – живой человек или странное испарение жизни, стустившееся в человеческую фигуру с наивно-реальным шрамом на лбу?

В первый раз я его увидел на митинге, в алом отблеске знамен, среди плеска и шума неудержимо нарастающей потребности в действии. Бледный полицмейстер пытался говорить:

– Граждане! Чтоб избежать напрасного кровопролития...

– Долой! Не мы крови хотим, а вы!..

– ...чтоб напрасно не полилась человеческая кровь, я умоляю вас...

– Вон его!.. Долой!..

Полицмейстер измученно махнул рукою и сошел с ящика. Кипели речи. Около полицмейстера стояла Наташа. Мелькнула темная фигура, – это был Турман. Задыхаясь, он остановился перед полицмейстером, потоптался. Странно наклонившись, шагнул в сторону. Опять воротился. Как будто сновала зловещая ночная птица. В одно время полицмейстер и Наташа вдруг поняли, – понял вдруг и Турман, что они поняли. И стояли все трое, охва-

ченные кровавою, смертною дрожью, и молча смотрели друг на друга. Наташа заслонила полицмейстера рукою и властно крикнула:

– Товарищ, уйдите!

Турман крепко сжатою рукою что-то держал в кармане пальто. Он топтался на месте, дрожал и впивался взглядом в глаза Наташи.

– Уйти?.. Наташа!

– Сейчас же уйдите! Слышите?

– Так уйти?.. Ната... Наташа?..

Я решительно обнял его за плечи.

– Пойдемте, товарищ! Вам тут нечего делать!

Все еще дрожа, он покорно, как в гипнозе, пошел со мною в толпу... Через минуту, все забыв, Турман жадно слушал несшиеся в толпу призывы.

Сегодня он опять темным призраком прошел перед душою, и опять я спрашиваю себя: живой это человек? Или сгустилась какая-то дикая, темная энергия в фигуру человека со шрамом на лбу?

Спокойно глядя на него, Розанов беспощадно говорил:

– В профессионалы вы не годитесь. Ника-

кого дела мы вам дать не можем. Вы не умеете сдерживать себя, когда нужно. Вы весь отдаетесь порыву. Вы не ведете толпу, а сами несетесь с нею...

Турман дрожащими руками закуривал папиросу и никак не мог закурить.

– Как же это не может мне дело найтись? Я ни от чего не откажусь. Давайте, что знаете. Что ж мне, сложа руки сидеть? И это тоже: с голоду издыхать? Сами знаете, я теперь безработный. За общее дело пострадал, никуда не принимают.

– Жалко вас, но партия не богадельня.

– Да я у вас не милостыни и прошу, а дела... Гм! Ну, па-артия! Жалуются, людей нет, а людей гонят. Жалуются, денег нет, кругом все добывают деньги – на пьянство, на дебош... А они на дело не могут.

Розанов быстро поднял голову.

– Как это деньги добывают?

– Как! Сами знаете!

Они молча смотрели друг другу в глаза.

– Вы говорите про экспроприации. Помните, Турман, хорошенько: партия запрещает их.

– Я вам под чужим флагом устрою. Наберу молодцов. Никто не узнает.

– Что такое? – Розанов встал. – Нам с вами разговаривать больше не о чем.

– Та-ак... – Турман взялся за шапку. Он задышался. – Значит, окончательно за хвост и через забор? Благодарим!.. Речи болтать, звать на дело, а потом: "Стой! погоди! Ты только, знай организуйся". Спасибо вам за ласку, господа добрые!

Собрание происходило в народном театре. На эстраде восседал весь их комитет, – председатель земской управы Будиновский, помощник директора слесарско-томилинского банка Токарев и другие. Приезжий из столицы профессор должен был читать о правых партиях.

Ходили слухи, что на собрание явится со своими молодцами лабазник Судоплатов – местный "Минин" и кулачный боец. Лица смотрели взволнованно и тревожно.

В первом ряду сидела жена Будиновского, Марья Михайловна, рядом с Катрюю. Марья Михайловна поманила меня.

– Скажите, вы слышали, что будут судоплатовцы?



– Слышал.

– Неужели ваши будут так бестактны, что выступят?

– Обязательно!

– Ну да! Вы хотите сорвать собрание... Господи, положительно я не понимаю. Сами бойкотируете выборы, – зачем же другим мешать? Ведь бог знает что может произойти. Катерина Аркадьевна, не пойти ли нам за кулисы? Муж мне советовал лучше там сесть, – если что выйдет, легче будет уйти.

– Конечно, пойдите, – оно безопаснее.

Катра вспыхнула, высокомерно оглядела меня и отвернулась. Марья Михайловна взволнованно двинулась на стуле.

– Боже мой! Смотрите, – верно!.. Он!

В публике произошло движение. От входа медленно шел между стульями лабазник Судоплатов в высоких, блестящих сапогах и светло-серой поддевке, как будто осыпанный мукой. Сухой, мускулистый, с длинною седою бородою. Из-под густых бровей маленькие глаза смотрели привычно грозно.

Говорят, у него дружина в сто человек, вооруженных револьверами. Он входит к губер-

натору без доклада. Достаточно ему кивнуть головою, чтоб полиция арестовала любого. Он открыто хвалится везде, что в дни свободы собственноручно ухлопал пять забастовщиков.

Прошел он и сел во втором ряду. И замер, прямо глядя перед собою. Как будто удав прополз и лег. Жуткий, гадливый трепет пронесся по рядам. Слухи становились грозящей действительностью.

Наши заняли правую сторону амфитеатра. Мороз шепнул мне на ухо:

– Ну, значит, быть бою!

Весело блестя прищуренными глазами, он вынул из кармана кастет и показал мне его из-под полы.

Вышел докладчик-профессор. Оглядел толпу близорукими глазами в очках и начал.

Говорил он мягко, красиво и задушевно. Правые партии объявляют себя опорой России: при каждом удобном случае твердят о своей готовности всем пожертвовать для царя и отечества. На днях еще это говорил в Дворянском собрании глава истинно русской партии, граф фон Ведер-Нох. Исследуем же их

программу, посмотрим, чем они готовы жертвовать. Вот, например, аграрный вопрос. Беру программу, ищу и нахожу: первым делом рекомендуется переселение. Спору нет, это дело не бесполезно, хотя статистикою доказано, что свободных земель для заселения у нас весьма недостаточно. Но я спрошу: где же тут жертва?.. Рабочий вопрос. Рекомендуется государственное страхование рабочих. Опять против этого ничего нельзя возразить. Но жертва-то, господа, жертва где же?..

Профессор улыбался близорукими глазами и разводил руками.

Ярко вскрыл он узкое своекорыстие разбираемой партии, широко и красиво набросал собственную программу и кончил нападением, что на нас смотрит история.

– В ваших руках, граждане, дальнейшая судьба России, и строго допросите вашу совесть раньше, чем пойти к избирательным урнам!..

Захлопали – громко и настойчиво, но не густо. Большинство загадочно молчало.

Председатель объявил перерыв.

Настроение становилось все тревожнее.

Дамы со страхом косились на Судоплатова. Он сидел на подоконнике и сонно-равнодушными, загадочными глазами смотрел перед собою.

Я пошел на эстраду записаться. Будиновский растерянно взглянул на меня. Стал убеждать не выступать.

– Толпа самая ненадежная, – приказчики, мелкие лавочники, – мещане. А мы имеем достоверные сведения, что в публике до полусотни переодетых судоплатовцев. Вы ведь знаете специальное назначение этих молодых – в нужные моменты изображать "возмущенный народ". Ваше выступление даст им возможность увлечь толпу на самые неожиданные выходы.

– Ну, а все-таки, пожалуйста, запишите меня.

Я воротился на место. Дыхание слегка стеснялось, сердце вздрагивало от ожидания. Море голов двигалось вниз. Огромная душа, чуждая и темная. Кто она? Враг? Друг?.. Кругом были свои, с взволнованными, решительными лицами. О, милые!

Зазвенел председательский звонок. Нача-

ли рассаживаться. Часть наших стала около эстрады, чтобы в случае чего быть поближе.

Будиновский поднялся из-за стола, взволнованно поглядел в мою сторону.

– Слово принадлежит господину Чердынцеву. Господин Чердынцев, пожалуйста на эстраду!

Алеша любящим беспокойным взглядом следил за мною.

Головы, головы перед глазами. Внимательные, чуждо-настороженные лица. Поднялась из глубины души горячая волна. Я был в себе не я, а как будто кто-то другой пришел в меня – спокойный и хладнокровный, с твердым, далеко звучащим голосом.

– Господа! Столичный профессор очень жестоко нападал здесь на правые партии. Позвольте заявить прямо и откровенно: я принадлежу к самой правой партии. Я – черносотенец. Тем не менее я от души приветствую доклад господина профессора, приветствую те основные мысли, на которых он строит свою критику. Для разных социал-демократов и забастовщиков программы их партии определяются тем, чего они требуют. Вооружен-

ный наукою профессор доказал нам: достоинство серьезной политической партии определяется не тем, чего она требует, а тем, чем она жертвует. Чем жертвуем мы, кого вы называете черносотенцами, – это я после скажу. А раньше спрошу вас, господин профессор, – чем же жертвуете вы и ваша партия?

Разобрав их программу, определив состав партии, я стал доказывать, что всевозможные свободы и конституции им выгодны, сокращение рабочего дня безразлично, наделение крестьян землею "по справедливой оценке" диктуется очень разумным и выгодным инстинктом классового самосохранения.

– Чем же, господа, вы-то жертвуете? Всякие революционеры, – они по крайней мере жизнью своею жертвовали, а вы тогда сидели в ваших норках и болтали на разных съездах. Но вы спрашиваете: чем жертвуем мы? Извольте, я скажу. Вы все говорили о графах и богачах, – верно, – им жертвовать нечем. Но вот тут мы сидим, бедняки и не графы. Мужики, рабочие, ремесленники, приказчики. Да мы всем жертвуем для порядка отечества! Мы жен и детей готовы заложить, как великий

наш патриот Минин!.. (Я с пафосом повысил голос.) И зложим, и всем пожертвуем.. Жизнь отдадим за могущество и славу матушки России!..

Раздались хлопки, крики "ура!". Судоплатов, подняв бороду, все время пристально смотрел на меня, но тут тоже захлопал. Тогда в разных концах захлопали еще настойчивее. Совы, шныряющие только в темноте, приветствовали сову, смело вылетевшую на солнце.

– Чем мы жертвуем! И вы можете это спрашивать! Да что же вы думаете, мужик нашей партии слеп, что ли? Не видит он, что рядом с его куриным клочком тянутся тысячи десятин графских и монастырских земель? Ведь куда приятнее поделить меж собой эти земли, чем ехать на край света и ковырять мерзлую глину, где посеешь рожь, а родится клюква. А мужик нашей партии говорит: ну что ж! И поедем! Или тут будем землю грызть. Зато смиренно сидим, начальство радуем, порядка не нарушаем... Разве же это не жертва?!

Пронесся недоумевающий ропот. Раздались смешки. Судоплатов еще выше поднял бороду и пристальными, загорающимися гла-

зами смотрел на меня.

– Про неприкосновенность личности вы говорили... На мне вот, господин профессор, потрепанная блуза, а на вас тонкий сюртук. Если я попаду в каталажку, мне там пропишут такую неприкосновенность, какой вам никогда не видать. Всякий околоточный или урядник надо мною все равно что царь. А поверьте, господин профессор, я тоже человек, я тоже хотел бы, чтобы меня никто не смел хватать за шиворот. Но я говорю: это нужно для высшего порядка. Не моего ума дело соваться в политику. Господину полицмейстеру лучше видно... Да неужели же и это не жертва?

Меня прервал взрыв рукоплесканий и хохот. Судоплатов вскочил и опять сел. Перекатывался хохот, кричали "браво", повсюду трепыхали хлопающие руки, даже на эстраде и в первых рядах.

Я восхвалял рабочих, для порядка голодающих и работающих без конца. Среди хохота и плеска Судоплатов встал и медленно, ни на кого не глядя, пошел вон.

Потом говорил Мороз, Перевозчиков. Опять я говорил, уже без маскарада. Меня



встретила буря оваций. И говорил я, как никогда. Гордые за меня лица наших. Жадно хватающее внимание серых слушателей. Как морской прилив, сочувствие сотен душ поднимало душу, качало ее на волнах вдохновения и радости. С изумлением слушал я сам себя, как бурно и ярко лилась моя речь, как уверенно и властно.

Говорили, конечно, и с эстрады, – профессор, Будиновский, Токарев. Но было у них, как обычно теперь: им наносились удары слева, они стыдливо чуть-чуть защищались, а свои удары направляли вправо, в пустоту.

Трогательно было, когда собрание кончилось. Тесною, заботливою толпою меня окружили товарищи рабочие, и я вышел в густом кольце защитников.

Стояла в проходе Катра и сучающе слушала госпожу Будиновскую. Мельком Катра взглянула на меня, и в ее взгляде мелькнула на миг сиротливая зависть и горячая нежность. А может быть, это мне показалось.

– Слышал, слышал, как вы отличились! Везде только о вас и говорят! – Доктор Роза-

нов смеялся зеленоватыми глазами и с горделивою нежностью смотрел на меня. – Вот что: знаете вы некоего человека, которого зовут Иринарх?

Я пренебрежительно ответил:

– Знаю.

Рассказал о его разговоре с Турманом и Дядей-Белым. Я ждал, что глаза Розанова вспыхнут презрением. Но он выслушал внимательно и очень спокойно, с тем взглядом глаз, который я знаю у него, – выше людей смотрящим, где каждый человек – лишь материал.

– Он может нам пригодиться.

– Сомневаюсь. Это одиночка до мозга костей и гастроном жизни.

– Мы ему сколько угодно поднесем пикантных блюд.

Мне хотелось знать, как относится Розанов к его разговору с Турманом.

Розанов уклончиво ответил!

– В сущности, он во многом прав. Только ошибка его, что он мыслит не диалектически. В процессе своей жизнь выработала из человека тип, для которого борьба стала фетишем. Но нельзя же, например, агитатору говорить

такие вещи перед толпой!.. Нашел кого просвещать, – Турмана! Этакий болван!

Вчера вечером Алексей нажарил печку, в низкой комнате было жарко и душно, я долго не мог заснуть. Встал поздно, в двенадцатом часу. Наставил в кухне самовар и стал чистить свои ботинки.

В наружную дверь постучались.

– Кто там?

Ответил голос Катры. Что это значит? Я надел ботинки и пиджак, отпер дверь.

Она вошла, румяная от холода, немного смущаясь.

– Здравствуйте! Пришла к вам в гости, – сказала она недомашним, застенчиво тихим голосом и улыбнулась.

Улыбкою, как медленную зарницу, осветилось ее лицо, и осветилось все кругом.

– Чудесно! Сейчас поспеет самовар, будем чай пить.

По-обычному я враждебно насторожился, стараясь не поддаваться ее красоте и свету ее улыбки.

Катра, наклонившись, снимала с ноги се-

рый меховой ботик, с любопытством оглядывала убогую, обмазанную глиною кухню.

– Как к вам трудно пройти! Сугробы горами и узенькие-узенькие тропинки... Что это вон на полу лежит, письмо? Кажется, нераспечатанное.

Около моей двери лежал большой серый конверт. Я поднял его.

– Должно быть, в щель вашей двери был засунут, вы открыли дверь, он выпал.

На конверте рукою Алексея было четко написано: "Его Высокоблагородию Константину Сергеевичу Чердынцеву. Весьма нужное". В конверте оказался другой конверт, поменьше, белый, и на нем стояло:

"Костя! Пожалуйста, ради всего тебе дорогого, прежде чем предпринимать что-нибудь, прочти все мое письмо возможно спокойнее, дабы не сделать ложного шага".

Я дрожащими руками разорвал конверт. Было написано много, на двух вырванных из тетради четвертушках линованной бумаги. Перед испуганными глазами замелькали отрывки фраз: "Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых... Открой дверь"

при Фене... Скажи ей, что я самоубийца... согласится дать показание. Вчера воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар".

Из смутного тумана быстро выплыло вдруг побледневшее лицо Катры. Как в зеркале, в нем отразился охвативший меня ужас. Я бросился мимо нее к двери Алексея.

Дверь была заперта изнутри, – крепкая, в крепких косяках. Я бешено дернул за ручку. Что-то затрещало и подалось, я дернул еще раз, радостно и удивленно чувствуя, что силы хватят. Правый косяк подался, дверь с вывернувшимся замком распахнулась, и штукатурка в облаках белой пыли посыпалась сверху. Охватило душным, горячим чадом.

С кровати, придвинутой изголовьем к открытой печке, полусидя и странно скорчившись, Алексей неподвижно смотрел в просвет взломанной двери.

Я бросился к нему.

– Алеша!.. Голубчик!..

Бледный, он перевел на меня, не узнавая, огромные, чуждые, смертно-серьезные глаза. Смотрел и бессмысленно бормотал:

– Что такое?.. Что такое?..

Я раскрыл форточку, вынул из трубы горячие вьюшки. В мутных глазах Алексея мелькнуло сознание. Он медленно спустил ноги с кровати и вздохнул.

– Родной мой, Алеша!..

Задыхаясь, с дрожащими губами, я сел рядом с ним, обнял его плечи. Он сидел в одном нижнем белье, вытаращив глаза, и медленно оглядывался – с пристальным, испытующим любопытством.

– Как глупо! Как нелепо!

Он с отвращением передернул плечами и продолжал украдкой оглядываться, как будто выискивал, отчего не удалась попытка.

Я что-то говорил, а он безучастно молчал. В дверях показалась Катра и, увидев его раздетым, отошла. Алексей равнодушно проводил ее глазами. Белый, уныло-трезвый свет наполнял комнату. У кровати стоял таз, полный коричневой рвоты, на полу была натоптана известка, вдоль порога кучею лежало грязное белье, которым Алексей закрыл щель под дверью.

И он сидел понурившись, с вырисовывав-

шимся под бельем крепким, мускулистым телом, сложив на коленях большие, как будто рабочие руки.

– Что у меня такое с языком?.. Посмотри, пожалуйста, у меня ощущение, как будто кончика нет. – Еще сильнее обычного его голос звучал неестественно и деланно.

Он высунул распухший, толстый язык. На языке темнели глубокие отпечатки зубов, как на тесте. Я ответил:

– Распух язык. Ты его себе прикусил.

Не глядя на меня, он лег в постель и укрылся одеялом. Я осторожно и любовно спросил:

– Как ты себя чувствуешь?

Алексей равнодушно ответил:

– Ничего. Голова только отчаянно болит... Попробую заснуть. – Он помолчал. – Вот что, Костя: пожалуйста, никому не говори. Так глупо!

Он отвернулся к стене и закутался с головой. Я вышел. Катра стояла в моей комнате у окна. Она торопливо стала спрашивать:

– Ну, что? Как он?

– По-видимому, ничего, все благополучно.

Должно быть, поздно печку закрыл, мало было угару, а организм здоровый... Пожалуйста, Катерина Аркадьевна, никому не рассказывайте.

– Ну да, конечно же!.. Скажите, ведь при угаре помогает нашатырный спирт? Вам нужно здесь остаться, я схожу в аптеку.

Она поспешно оделась и ушла. Я поднял с пола письмо, стал читать:

15 февраля, 2 ч. ночи.

"Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Пожалуйста, поступи так: открой дверь при Фене (ключ под дверью на пороге), скажи, что я самоубийца, что я буду гореть в вечном огне и что помочь мне могут только панихиды. Она девушка добрая и согласится дать такое показание: "Алексей Васильевич часто топил печку на ночь; вчера вечером он воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар..." Только бы Маша не узнала настоящей причины! Голубчик, дорогой, прими к этому все меры!.. Я больше месяца мучился, старался побороть себя, но не могу, и даже мысль о



Маше не может меня удержать. Бедная, бедная Мадонна! Я любил ее больше всех на свете.

А причины? Что же я не пишу о причинах моей смерти? Я чувствую себя чересчур уж "маленьким человеком". Я думаю, больше нечего об этом писать, ты меня поймешь. Прощай, мой хороший, смелый, умный. Если я на что шел, то только потому, что ты вел меня. Завтра вы будете пить чай, ходить по улицам, а меня совсем не будет... Чудно!"

8 час. утра.

"Проснулся, – голова болит, но жив; пошел и взял назад это письмо. Как глупо! Видно, пять поленьев мало. Поэкономничал, жалко было тратить много дров. Все моя глупая деликатность. Сегодня положу в печку десять".

4 часа утра, 16 февраля.

"Вчера ночью я плакал, волновался, уходил из дома, а теперь чувствую такое спокойствие и решимость! Печка натоплена жарко, углей масса, и жар валит в комнату. Теперь мне такими маленькими-маленькими кажут-

ся все людские страдания и печали. И знаешь? Такою маленькою кажется мне и твоя радость жизни, освещенная будущим. Неужели ты вправду веришь в нее? Ну, не сердись, прости меня. Ты, конечно, веришь, иначе как бы ты мог жить? Но это вера, и не больше. А я к своему выводу пришел разумом, неопровержимою логикой: жизнь человеческая есть отрицательная величина, а смерть – нуль; нуль же больше всякой отрицательной величины, это говорит математика. И если даже прав Иринарх относительно размаха в положительную и отрицательную сторону, то и тут я столь же строго математически извлекаю среднее и получаю тот же молчаливо-выразительный нуль... Прощай!"

Он пытался, значит, две ночи подряд! Я смотрел на ровные, четкие строки, на эти два сероватых листика с школьною голубою линовкою... А вчера вечером он со мною пел, дурачился. Это, – имея позади одну ночь и в ожидании другой. У меня захолонуло в душе.

Я вышел в кухню, заглянул в его комнату. Алексей лежал лицом к стене и – притворя-

сь? – ровно и громко дышал, как будто крепко спал. Я сел к нему на постель, обнял через одеяло и припал к нему.

Алексей вздрогнул, раскрыл глаза и, трянуv голову, стал оглядываться, как человек, разбуженный после крепкого сна. И нельзя было разобрать, притворяется он или нет. Я сказал прерывающимся голосом:

– Алеша, Алеша, что ты хотел сделать!

Он старался не встретиться со мною глазами. Взгляд его был чуждый и отдаленный; на бледном, страшно осунувшемся лице темнели глубоко впавшие, окаймленные синевую глаза. Он как будто смотрел из другого мира, неподвижно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я продолжал:

– И почему? Какие причины? То, что ты пишешь, – разве это основание? "Маленький человек". А разве мы все не маленькие? Неужели право на жизнь имеют только Ласали и Гарибальди? Да и не в этом все дело, ты просто изнервничался в тюрьме, ослабел.

Алексей слушал, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. На губах его мелькнула усмешка. Он удивленно сказал:

– Чудак ты! Вот я не думал, что ты будешь так держаться! Что тюрьма? Посмотри, какой я крепкий. Дело вовсе не в этом. Ты отлично должен бы все понять.

– А потом – Маша. Как можно было бы это скрыть от нее? Конечно, Феня разболтала бы, да и вообще то, что ты придумал, слишком невероятно... А что бы с нею тогда случилось?

– По-твоему, это, значит, главная причина? А если бы Маши не существовало? – с странным любопытством спросил Алексей. Он поднял голову и облокотился о подушку. – Для чего мне, собственно, продолжать жить? Неумелый. За что ни возьмусь, получается ерунда. Вот два раза подряд даже убить себя не сумел. И ты отлично знаешь мою судьбу: ворочусь в университет, кончу – серенький, аккуратный; поступлю на службу... А страдания меня вовсе не прельщают... Для чего же все?

Он теперь прямо смотрел мне в глаза, и глубоко в его зрачках светилась добродушная, прощающая усмешка.

Я растерянно молчал. Этот взгляд, смотревший на меня из другого мира, принял бы одну только глубокую правду. И все, что я мог

бы сказать, чувствовало себя ненужным, фальшивым, все бессильно спадалось, обвисало и сморщивалось. Радость жизни, радость борьбы, – но он их не ощущал. Жизнь для других, – но как будто об этом можно случайно забыть и при напоминании убедиться... А между тем душа громко, настойчиво кричала, всем существом кричала, что должно быть что-то громадное, полное, могучее по своей неоспоримой убедительности. Но что?

Я молча прошелся по комнате, сел к столу. Около склянки с чернилами аккуратною стопочкою были сложены все конспекты, записная книжка, потертый кожаный портсигар. Паспорт был раскрыт. В рубрике: "Перемены, происшедшие в служебном, общественном или семейном положении владельца книжки", рукою Алеши четко было вписано:

"Волею космического разума обратился в ничто 16 февраля 1906 г., в 6 часов утра".

Алексей увидал, что я читаю, и поморщился.

– Э, это я так, дурачился.

Я перевернул страницу. Все рубрики были заполнены его старательным, аккуратным

почерком.

"Приметы: рост: – Так себе. Цвет волос – Неопределенный. Особые приметы – Конечно, нету".

Алексей неестественным голосом сказал:

– Слушай, Коська, я спать хочу. Голова болит.

– Я уйду. Только вот что... Голубчик! – Я нерешительно подошел. – Дай мне слово, что больше не будешь пытаться.

– Не буду. Не сумел, – сам виноват. Теперь бы это было свинством.

– Правду только говоришь, Алеша?

Любовь и горькая жалость были во мне. Я обнял его и целовал – нежно, как маленького, беззащитного брата. Алексей вдруг всхлипнул, обнял мою шею и тоже крепко поцеловал меня. И я чувствовал, как страшно пусто и как страшно холодно в его душе.

– Алешка, Алешка, тяжело тебе! Нужно, брат, встряхнуться, нужно перестроить жизнь... Мы поищем...

Он усмехнулся.

– Теперь только и остается. Отказался от смерти, приходится что-нибудь поискать в

жизни.

– Найдем, брат, найдем!.. Ей-богу, найдем!

Стало легко и близко, разрушилась преграда. Мы несколько времени сидели молча. Я участливо спросил:

– Голова болит?

– Ужасно! – поморщился он.

– Сейчас Катерина Аркадьевна принесет нашатырного спирта. Ты его нюхай, легче будет.

– Слушай, зачем она здесь?

– Случайно зашла, и как раз попала.

– Ну, ладно, буду спать...

Я ушел в свою комнату, подошел к окну. На улице серели сугробы хрящеватого снега. Суки ветел над забором тянулись, как окаменевшие черные змеи. Было мокро и хмуро. Старуха с надвинутым на лоб платком шла с ведром по грязной, скользкой тропинке. Все выглядело спокойно и обычно, но было то и не то, во всем чувствовался скрытый ужас.

Сегодня утром так же чуть таяли хрящеватые сугробы, так же проходили по тропинке женщины к обледенелому колодцу. А в это время он, со смертью и безнадежностью в ду-

ше и со страшною решимостью, валялся головою к печке в горячем угарном чаде, с судорожно закушенным языком.

И мне вспомнилось: в первую из этих ночей я долго слышал сквозь сон, как он двигался в своей комнате, слышал скрип наружной двери и шаги за окном. А вчера вечером мы пели вдвоем, боролись, и он смеялся. Потом, ночью, я читал Макса Штирнера, а там, за тонкою стеною, совершалось в человеческой душе самое страшное, что есть на свете. Страшное – и одинокое, глубоко, непостижимо одинокое. И если бы он тогда вошел ко мне и сказал: – отбросим все условности, поговорим по душе, не прячась друг от друга, – скажи по совести, для чего мне продолжать жить? – то я все равно ничего не мог бы ему ответить. И он, стоя обеими ногами в могиле, смотрел бы на мою растерянность с тою же добродушною насмешкою...

Извозчик подъехал к воротам. Торопливо вошла Катра с нашатырным спиртом. Я пошел со склянкою к Алексею. Опять он встряхнулся и удивленно раскрыл глаза, и опять нельзя было понять, – спал ли он, или притво-



рялся и думал о чем-то.

Как будто для моего удовольствия он понюхал раза два из бутылочки и завернулся с головою в одеяло. Я тихонько вышел. Катра задумчиво ходила по моей комнате.

– Константин Сергеевич, может быть, можно ему что-нибудь сделать, помочь ему... Отчего это он, отчего?

Я устало сел на постель. Недоумение и растерянность были в душе, и что-то, как будто помимо сознания, напряженно думало все над одной мыслью:

– Вот вплотную подойдет к вам человек, подойдет и спросит: не хочу я жить, – почему мне не умереть? И ответьте ему так, чтобы это не было фразой. На что же мы вообще можем ответить, если не можем ответить на это? А ведь, казалось бы, ответить нужно так, чтоб ясная убедительность ответа покоряла легко и сразу, нужно ответить с недоумевающим смехом, – как можно было об этом даже спрашивать...

Катра, наморщив брови, смотрела мимо меня в окно, как будто намеренным непониманием отгораживалась от моих вопросов.

Она сказала:

– Может быть, это временное? Нужно отвлечь его от его мыслей и настроений, рассеять...

Сидела она, облокотившись о стол, и была это не запершаяся в себе красавица, лелеющая свою красоту, а прежняя Катра, с гладкими волосами, простая и отзывчивая. Стало близко, как с товарищем. Мы долго сидели и разговаривали вполголоса.

Я наставил давно выгоревший и остывший самовар. Решили, что Алексею хорошо бы выпить чаю с коньяком. Катра осталась дежурить, а я пошел в город за вином и тихонько захватил свои часы, чтобы заложить.

Спускались сумерки. Мелкий, сухой снег суетливо падал с неба. Я остался один с собою, и в душе опять зашевелился притихший в разговорах ужас. На Большой Московской сияло электричество, толпы двигались мимо освещенных магазинов. Люди для чего-то гуляли, покупали в магазинах, мчались куда-то в гудящих трамваях. Лохматый часовщик, с лупою в глазу, сидел, наклонившись над столиком. Зачем все?

Так огромно было то, перед чем сегодня ночью стоял Алексей. Так ничтожна была суетня кругом. И не только она. Мелькнувшее в темноте румяное личико девушки, перебитая каблуком переносица Прасковьи, стачка циглеровцев, вопросы о будущем, искания мысли и творчество гения – все одинаково было ничтожно и мелко.

И опять мне вспоминалось, как с темною безнадежностью в душе он валялся с закушенным языком в жарком угарном чаде. И губы начинали прыгать, и в темноте слезы лились из глаз.

Идут дни. Снова все обычно. Снова мы разговариваем, шутим, как будто ничего не случилось. Но он смотрит на меня из другого мира и только скрывает это. Когда я осторожно пытаюсь заговорить о том, что у него в душе, он морщится и отвечает:

– Ну, оставь, пожалуйста! Я дал тебе слово, что больше не буду повторять, – чего же тебе еще?

Что-то глухо огородило его душу. Хочется разорвать, раскидать руками преграду, вплотную подойти к его душе, горячо приникнуть к

ней и сказать...

Но что сказать?!

В душе моей ужас. И не потому, что Алеша стоит перед смертью. На моих глазах его били городовые дубинками и рукоятками револьверов, залитая кровью голова бесчувственно моталась. Я шел мимо, одетый деревенским парнем, с гирляндою револьверов под полубубком. И тогда было не то. Я шел – и не мозгом, а всем существом в лихорадочном смятении ощущал одно: Алеша, Розанов, я, другие – все это совсем ничто, есть что-то огромное и общее, а это пустяки. Сейчас избивают Алешу, – пускай! Завтра меня самого, раненого, будут топтать лошадью, пускай! И это думалось без смирения и без гордого вызова, а просто как что-то естественное и само собою понятное.

Тогда было совсем не то.

Топится печка. В ее пасти – куча раскаленных мигающих углей, по ним колышутся синие огоньки. Алексея нет дома. Я сижу с кочергою перед печкой в его комнате. Мне кажется, в воздухе слабо еще пахнет угаром и смутный ужас вьется в темноте.

Перед тою ночью, вечером, мы пели дуэтом: "Не шуми ты, рожь..." Он однообразно и размеренно гудел своим басом, и я возмущался, дирижировал, замедлял темп. Там есть слова:

Тяжелей горы, темней полночи,  
Легла на сердце дума лютая...

Я морщился и останавливал его.

– Ну, Алешка, ведь дума лютая, – ты пойми, представь ее себе!.. Тоски побольше, грусти безнадежной... Давай еще раз!

Он конфузился, и мы начинали снова. И он бесплодно старался вложить безнадежную тоску в "думу лютую"... А у самого в это время – какая лютая-лютая дума была в душе!

От печки жарко. Темные налеты, мигая, проносятся по раскаленным углям. Синие огоньки колышутся медленнее. Их зловещая, уничтожающая правда – ложь, я это чувствую сердцем, но она глубока, жизненна и серьезна. А мне все нужно начинать сначала, все, чем я жил. У меня, – о, у меня "дума лютая" звучала такой захватывающею, безнадежною тоскою! Самому было приятно слушать. И теперь мне стыдно за это. И так же стыдно за

все мелкие, без корней в душе ответы, которыми я до сих пор жил.

Все нужно начинать сначала.

Жизнь неслась, как будто летел вдаль остроконечный снаряд, со свистом разрезая замутившийся воздух. Так неслась жизнь, и мы в ней. Голова кружилась, некогда было думать. И вдруг, как клубок гадов, зашевелились теперь вопросы. Зашевелились, поднимают свои плоские колеблющиеся головы.

И я читаю, читаю. И я думаю, думаю. И самому смешно – мне поскорее, пока Алеша не убил себя, нужно узнать вновь, и уже всерьез, – зачем жить.

Зачем жить?

Я смотрю на эти два написанных слова. Чего-то стыдно. Они глядят так наивно-банально, так по-гимназически. И это особенно страшно. Смешно глядят они не потому, что только гимназист не знает ответа на странно-простой вопрос, а потому, что только еще гимназист может ждать возможности ответа.

Ответа нет нигде. А люди живут.

Гольтяков все пьет. Пропил инструменты,

пропил тальму Прасковьи. Вчера вечером пришел, рванул себя зубами за руку, оторвал лоскут кожи.

– Вот! Себя не жалею!.. То ли с тобой сделаю!

Ночью за нами прибежал Гаврик, братишка Прасковьи. Гольтяков накинулся на избитую до бесчувствия Прасковью и стал ее душить. Мы оттащили его и связали. Он щелкал зубами, катался по кровати и хрипел:

– Доберусь до тебя, шлюха проклятая, погоди!.. К студентам бегаешь ночевать, – думаешь, не знаю!.. Нашла заступников... Погоди!..

Гнусность, гнусность!

Зашел Иринарх, передал мне просьбу Катры прийти к ней. И, как маньяк, опять заговорил о радости жизни в настоящем, о бессмысленности жизни для будущего. Возражаешь ему, – он смотрит со скрытою улыбкою, как будто тайно смеется в душе над непонятливостью людей.

Я расспрашивал, подходил с разных сторон. Я хотел узнать, можно ли хоть что-нибудь извлечь из его осияния для того, что мне

было теперь так важно. Но, занятый своим, Иринарх не замечал кровавой жизненности моих вопросов. Глядя из-под крутого лба, с увлечением разматывал клубок своих мыслей:

– Все уныло копошатся в постылой жизни, и себе противны, и друг другу. Время назрело, и предтеч было много. Придет пророк с могучим словом и крикнет на весь мир: "Люди! Очнитесь же, оглянитесь кругом! Ведь жизнь-то хороша!" Как и Иезекииль на мертвое поле: "Кости сухия! Слушайте слово господне!"

Я с ненавистью расхохотался.

– "Жизнь хороша!"... Сотни веков люди ломают себе голову, как умудриться принять эту загадочную жизнь. Обманывают себя, создают религии, философские системы, сходят с ума, убивают себя. А дело совсем просто, – жизнь, оказывается, хороша! Как же люди этого не заметили?

– Потому не заметили, что хотят "счастья", что задушены мертвым утилитаризмом. Что не настоящим живут, а ждут всего от будущего – либо в этом, либо в том мире...

Я уходил с ним. На крылечке под февраль-



ским солнышком сидела дрябло-жирная Пелагея Федоровна и кормила манною кашею любимого внука. Сытый мальчишка через силу глотал кашу.

– Кушай, золотце мое!.. Вон Гаврюшка смотрит... Не-ет! Мы тебе не дадим, мы сами хотим! Ну, кушай, раскрой ротик! Ишь какой Гаврюшка! Смотрит!.. А вот дяди подошли, говорят: "Дай нам!" Не-ет, не дадим, ишь какие ловкие! Вы пойдите у себя покушайте, а это мне!

Иринарх смеющимися глазами смотрел и жадно любовался. Мальчонка холодным взглядом враждебно косился на нас и сквозь набитый кашею рот повторял:

– Это мне!

Прошла Прасковья с неподвижными, сурово-страдальческими глазами. Пелагея жалостливо спросила:

– Ну что, милая? Где злодей твой?

Прасковья слегка покраснела и с сумрачным вызовом ответила:

– Где? На работу пошел!

Иринарх, пораженный, смотрел ей вслед.

– Кто это? Какие глаза замечательные!

Мы шли к воротам. Я рассказывал ему про Прасковью, про недавнюю ночь. Он рассеянно слушал и вдруг сказал:

– Вот если бы не было страданий у нее, если бы муж ее хорошо зарабатывал, не бил бы ее, холил... Была бы она, как эта вот хозяйка твоя, – жирная, заплывшая, со свиным взглядом.

Я, задыхаясь, остановился.

– Уходи! Уходи от меня!.. Я не могу с тобой идти, иди один!

Иринарх очнулся от своих мыслей и с недоумением взглянул на меня.

– Что такое?

– Вон!! Выкидыш засохший!

Я в бешенстве хлопнул на него калиткою, она вышибла его на улицу, и я задвинул заставу.

Нехорошо и глупо. Но уж больно нервы растрепались за последние дни. Вспомнишь, – опять сжимаются кулаки и охватывает кипящая злоба.

Но не только за Прасковью. Я вслушиваюсь в себя, – да, давно уже в проповедях Иринарха что-то вызывало во мне растерянную

досаду, я не мог себе опровергнуть у него какого-то неуловимого пункта и растерянность свою прикрывал разжигаемым презрением к Иринаруху.

Довольно вилять перед собою. В одном, самом существенном и важном, Иринарух прав, – жизнь оправдывается только настоящим, а не будущим. А теперь, и теперь особенно, – я не знаю и не понимаю, как это возможно.

Пришла Катра. Робкая, застенчивая. Украдкою приглядывается ко мне. Своим тихим, недомашним голосом сказала с упреком:

– Отчего вы за это время ни разу не зашли ко мне? Ведь вы же понимаете, мне хочется знать, как Алексей Васильевич.

– Ничего. Совсем по-прежнему. Ходит на урок.

– Я сейчас с ним встретила на улице, разговаривала. Вы знаете, у него в глазах как будто какая-то темная, мертвая вода. И он боится чужих глаз. Он все равно скоро убьет себя.

Теплым участием звучал ее голос. Но вдруг

что-то во мне дрогнуло, – глубоко в зрачках ее прекрасных глаз, как длинный и холодный слизняк, проползло выжидающее, осторожно-жадное внимание.

Что такое было, я не знаю. Но не верю я теперь ее участию к Алеше. И когда она ушла, я злобно погрозил ей вслед кулаком.

Плохо идут у нас дела. Настроение неудержимо падает. Ничего не добившись, завод за заводом становятся на работу. И совсем другое теперь, когда перед тобою то же море голов. Не волшебный сад, а бесплодная пустыня. Живые, рвущиеся к жизни семена бесильно стучаются о холодные камни.

Староносовцы чуть вчера не избили Дядю-Белого.

– Три дня до получки оставалось, – что было подождать? Нет, – "пристанем, ребята!.." А жрать нам тоже надо, не снегом кормимся!

Дядя-Белый смотрел, остолбенев от неожиданности.

– Товарищи, вспомните: я как раз вас удерживал. Как раз я говорил: подождем до получки. Вы же меня тогда обругали трусом и пре-

дателем.

– За других влетели в кашу!.. Мы от хозяев обиды не знали!

Согнулись спины, потухли глаза. В темноте сонно и уныло, как невыспавшиеся рабы, ноют гудки. И идут в холоде угрюмые вереницы серых людей. А Мороз и другие в тюрьме.

Жадно я вглядываюсь во встречные лица. Меня узнают. Глаза одних со стыдом отворачиваются, глаза других загораются враждою.

Что-то у меня в душе перестраивается, и как будто пленка сходит с глаз. Я вглядываюсь в этих сгорбленных, серых людей. Как мог я видеть в них носителей какой-то правды жизни! Как мог думать, что души их живут красотой огромной, трагической борьбы со старым миром?

Светятся в сырой соломе отдельные люди-огоньки, краса людей по непримиримости и отваге. А я от них заключал ко всем. Налетит ветер, высушит солому, раздует огоньки, – и на миг вспыхнет все вокруг ярким пламенем, как вспыхивает закрученная лампа. А потом опять прежнее.

Помню я незабываемое время. Сотни ты-

сяч людей слились в одно, и все трепетало небывало полною, быстрою жизнью. Сама на себя была непохожа жизнь – новая, большая, палившая душу живящим огнем. И никто не был похож на себя. Весь целиком жил каждый, до ногтя ноги, до кончика волоса, – и жил в общем. Отдельная жизнь стала ничто, человек отдавал ее радостно и просто, как пчела или муравей.

Но упал ветер, полил дождь, – и где они, сотни тысяч? Мокрая солома. А Мороз, Дядя-Белый – неизменно те же.

Не теперешняя наша мелкая неудача надежда на меня темные очки. Давно уже мне начинает казаться, что мы обманываем себя и не видим кругом того, что есть. Повторяем грозные фразы о своей силе и непримиримости, в волны спадают, спадают, и скоро мы будем на мели.

О, я верю и знаю, воротятся волны, взмоют еще выше, и падут наконец проклятые твердыни мира. Я не об этом. Но я ясно вижу теперь, – не тем живут эти люди, чем живут Мороз, Розанов, Дядя-Белый. Тогда иначе было бы все и больше было бы побед. Не в борьбе

их жизнь и не в процессе достижения, не в широком размахе напрягавшихся сил.

А в чем?

Мне не интересны десятки. Вот эти сотни тысяч мне важны – стихия, только мгновениями способная на жизнь. Чем они могут жить в настоящем?.. А подумаешь о будущем, представишь их себе, – осевших духом, с довольными глазами. Никнет ум, гаснет восторг. Тупо становится на душе, сытно и противно, как будто собралось много родственников и все едят блины.

У Катры постоянно приезжие гости. Особенная атмосфера там – пряная и слегка пьянящая. Чувствуется всеобщая тайная влюбленность в Катру. Я несколько раз был у нее. Там говорят о том, что мне теперь так важно.

Но мало дает.

Говорят, что мир плох, нужно его в своей голове сотворить другим, заслонить жизнь измышленной красотой. Что смысл жизни откроется людям в каких-то вакхических хороводах. Об искусстве говорят так, как мы говорим о борьбе. Много о боге говорят, очень

умно и красиво. Но не чувствуется того смятенного трепета, который я чую в Маше. И понимаю я, что, раз побыв тут, Маша грустно ушла и больше не бывала. Не бог у них, а "бог". Не огонь души, а гимнастика для ума. Величественный на вид, но удивительно покладистый и нетребовательный.

А сегодня читал свою странную драму Ивашкевич.

Я смеялся про себя необычным образам и оборотам, непонятым разговорам, как будто записанным в сумасшедшем доме. Не дурачит ли он всех нас пародией?.. И вдруг, медленно и уверенно, в непривычных формах зашевелилось что-то чистое, глубокое, неожиданно-светлое. Оно ширилось и свободно развертывалось, божественно-блаженное от своего возникновения. Светлая задумчивость была в душе и грусть, – сколько в мире красоты, и как немногим она раскрывает себя...

Он кончил, взволнованно ждал суждений. Быстро вышел без цели в столовую, опять воротился и непрерывно курил. Пряча самолюбие, впился в заговорившего глазами, приготовившимися к отрицающей оценке.



И ребячески-суетною радостью загорелись настороженные глаза от похвал. Губы неудержимо закручивались в самодовольную улыбку, лицо сразу стало глупым. Я вглядывался, – мелкий, тщеславный человек, а глубоко внутри, там строго светится у него что-то большое, серьезное, широко живет собою – такое безучастное к тому, что скажут. Таинственная, завидно огромная жизнь. Ужас мира и зло, скука и пошлость – все перерабатывается и претворяется в красоту.

Какая ошибка! Я искал ответа на свой вопрос у мыслителей, у творцов. Что я мог у них найти?

Благоухающие цветы человечества ищут смысла жизни и делают открытие, – смысл в том, чтобы благоухать. А крапива, репей, бурьян поучаются, вздыхают и повторяют: "Да, наше призвание – благоухать!" Орлы рвут ураган стальными крыльями и кричат сверху: "Жизнь в том, чтобы бороться с грозами!" А козявки цепляются за бьющиеся под ветром листья и пищат: "Да, жизнь в борьбе с грозами!"

Мне нет дела до орлов и цветов человечества. Борцы, подвижники, творцы, – они всегда жили и будут жить – в исканиях и муках, в восторге побед и трагизме поражений. А эти вот, серенькие, маленькие? Этот бурьян человеческий? Ведь здесь-то именно и нужно знать, для чего жизнь. Все люди живут. И для всех должно быть что-то общее. Не может смысл жизни разных людей быть несоизмеримым.

Эти, вот эти, серые, бесцветные. С какой стороны к ним подойти? Если они живут и довольны жизнью, меня злость берет и негодование. Хочется толкать их, трясти, чтоб они очнулись и взглянули кругом, – вы не живете, вы обманываете себя жизнью! А очнутся, взглянут, – вот Алеша. И охватит ужас. И кричит душа, что есть, есть и должно быть что-то для всех.

Но что, – я не знаю. Строго, пристально вглядываюсь я в себя. Чем я живу? И честный ответ только один: не хочу быть и никогда не стану человеческим бурьяном, Стану Розановым, Лассалем. Иначе не понимаю жизни... Собрание врагов волнуется и бушует, предсе-

датель говорит: "Господа, дайте же господину Чердынцеву возможность оправдаться!" И с гордым удивлением орла среди галок я в ответ, как Лассаль: "Оправдаться?.. Я пришел сюда учить вас, а не оправдываться!"

Царственная, уверенная в себе сила, неотвратимо покоряющая людей и жизнь. Трепет врагов при одном моем имени. Глаза девушек, с сияющим восторгом устремленные на меня.

И может быть... Я все больше начинаю подозревать: может быть, ничего этого не будет. Я тоже бурьян. Когда Ивашкевич читал свою драму и я, всей душой противясь, невольно покорялся вставшей красоте, – я почувствовал себя перед ним таким мелким и плоским. А вчера, – ну, уж расскажу и это, – вчера у Будиновских меня срезали позорно, как мальчишку.

Был спор о недавних событиях. Я привел слова Маркса, что в июньские дни в Париже был разбит не пролетариат, а была разбита его вера в буржуазию. И Шевелев – кадет! – с вежливой улыбкою, даже бережно как-то, возразил, что не помнит таких слов у Маркса;

если же они и есть, то согласиться с ними трудно, – в лучшем случае тогда были разбиты и пролетариат, и его вера в буржуазию. Я почувствовал, что краснею, – я не мог, я не мог уверенно сказать, говорил ли что подобное Маркс, или это я сейчас сам придумал в расчете на незнакомство противника с Марксом. И на возражение его я не умел ответить. А Шевелев не счел нужным закреплять свою победу и с тою же вежливою, бережною улыбкою искусно затушевывал мою растерянность.

Сидел я на крылечке двора. По обледенелой тропинке, под веревками с развешанным бельем, катался на одном коньке Гаврик, братишка Прасковьи. Феня надрала ему вихры, – все тесемки на белье он завязал узлами, и так они замерзли. Он катался, – худой, с остреньким, вынюхивающим носом, и плутовские глаза выглядывали, где бы опять наколобродить.

Из-под крылечка Гольтяковых вылез на изуродованных ногах худой, облезший щенок Волчок. С месяц назад пьяный Гольтяков, когда Прасковья убежала от него, со злобы вы-

вернул щенку все четыре ноги и забросил его в снег на крышу сарая.

Волчок ковылял и повизгивал, серая шерсть вихрами торчала на ввалившихся ребрах. Но глаза смотрели весело и детски доверчиво. Он вилял хвостом. Подошел к сугробу у помойки, стал взрывать носом снег. Откопал бумажку, задорно бросился на нее, начал теревить. Откинется, смотрит с приглядывающейся усмешкою, подняв свисающее ухо, залает и опять накинется на бумажку.

– Волчок!

Он повернулся ко мне, а лапою прижимал к снегу бумажку. Задорно приглядывающиеся глаза смотрели на меня, и в них читалось, что жизнь – это очень веселая и препотешная штука.

С улицы деловито забежал на двор большой мрачный пес и стал обнюхивать сугроб у ворот. Волчок, ковыляя и махая хвостом, кинулся к нему, хотел шутливо куснуть его. Пес хрипло огрызнулся и быстро хватил его зубами. Волчок завизжал и покатился в снег.

Я крикнул на пса, он убежал, Гаврик смотрел – и вдруг изо всей силы пхнул коньком

визжавшего щенка.

– Гаврик, ну как же тебе не стыдно! Собака его укусила, а ты на него же!

Волчок спасался к себе под крыльцо. Гаврик в негодовании смотрел ему вслед.

– Пускай не резонится, что я, такая, кусаюсь. Букашка этакая!..

Через десять минут опять вылез Волчок из-под крыльца. И опять в его приглядывающихся глазах была та же веселая усмешка.

Я пришел за Дядей-Белым. Он живет в Собачьей слободке. Кособокие домики лепятся друг к другу без улиц, слободка кажется кладбищем с развороченными могилами. Вяло бегают ребята с прозрачными лицами. В воздухе висит каменноугольный дым от фабрик.

Дяди-Белого еще не было. В тесной каморке возилась у печки его беременная жена Марья Егоровна. Трое ребят все лежали в кори. Нечем было дышать. От одиночной двери несло снаружи холодом.

Мы сидели с Марьей Егоровной у столика. Щеки ее осунулись, натянулась кожа на скулах, но глаза, прислушиваясь, спрашивали о

чем-то неведомом. Так смотрят глаза у девушек-курсисток, у молодых работниц.

Она рассказывала:

– Это ведь уже четвертый ребенок будет, что же это? Как цепь какая тянется. Я, когда почувяла, всю ночь проплакала. Утром набралась духу, говорю ему... А он... Вдруг вижу, – вся его рожа так и просияла! Есть с чего, подумаешь! Вы только представьте себе, – сияет, как будто я ему невесть какой подарок объявила. Потирает руки, ухмыляется. Поглядела я на его рожу глупую – и тоже засмеялась. Сидим, как дураки, смотрим друг на друга и смеемся...

Она улыбнулась воспоминанию, покраснела. Изнутри идущая радость засветилась в глазах.

– Ну, хорошо. А все-таки... – Марья Егоровна задумалась. – Четвертый родится, что же потом? Потом – пятый...

Глаза широко раскрылись, обтянутые скулы выдались сильнее.

– А потом... Что же это? Потом – шесто-ой?.. Пришел Дядя-Белый.

– Запоздал я. Идем?

– Да, нужно торопиться.

– Так идем. Егорка, прощай!

Он потрепал по шелушащейся щеке исхудалого мальчика с большими красными глазами.

– Вот, как в котле, все кипят... Из болезни в болезнь. Только что коклюш перенесли, корь напала... – Со своею медленною улыбкою он добавил: – Зато, какие выживут, закаленные будут люди.

Мы вышли. Изголодавшиеся легкие жадно вдыхали свежий воздух.

– Очень мало вы теперь зарабатываете?

– Мало... Расценки понижают. Что осенью у хозяев отвоевали, все теперь отбирают назад. Каждую неделю народ рассчитывают.

– Тяжело жить?

С бледною улыбкою он ответил:

– Тяжело.

Смотрел я на него: и никогда-то он не горит – всегда спокоен, ясен; упорно и без порыва смотрит в будущее. Нужно – с холодной отвагою бросится в огонь. Не нужно – с верою ждать будет годы.

Мы молча шли.



Я украдкой приглядывался к нему.

– Да, в будущем всем будет хорошо. А все-таки... Семен Иванович! Теперь-то, – зачем теперь жить?

Дядя-Белый с недоумением взглянул на меня.

Я упорно говорил:

– Ну что кому до того, что в будущем будет хорошо? Ведь кругом-то от этого не легче. А живут для чего-то... Зачем? – Я повел кругом рукою.

Дядя-Белый поднял брови. Лукавое что-то и хитрое мелькнуло в его наивно-чистых глазах.

– Да, норы собачьи... – Он огляделся кругом, улыбнулся. – Тяжело, невозможно жить. А мы все-таки живы... Вот. Может, через месяц все с голоду подохнем. На ниточке висим, вот-вот сейчас оборвемся, а мы живы! В вонючих своих углах, под грязными одеялами ситцевыми, – а мы живы!

Я остановился и молча смотрел на него. Он все улыбался.

Крутится Волчок на изуродованных ногах.

Смотрят с бескровного лица дико-испуганные, мучительные глаза Прасковьи. Радостно краснеет осунувшееся лицо Марьи Егоровны, Дядя-Белый лукаво улыбается. И один крик несется – вызывающий, мистически-непонятный:

"А мы живы! А мы живы!"

Свивается все в один серый клубок, втягивается в него вся жизнь кругом. Вьется, крутится, – вся неприемлемая, непонятная, – и, смеясь над чем-то, выкрикивает на разные голоса:

"А мы живы! А мы живы!"

Какое-то в этом самооскорбление жизни. Слепота какая-то, остаток умирающего недо-разумения.

И все-таки упрямо и торжествующе звучит голос Иринарха:

"Человек живет для настоящего..."

Как все это понять, как согласить?

Я жил. Я опьянялся бодрящими, поверхностными разгадками. Теперь мне совсем ясно, – я мог так жить только потому, что глубоко внизу лежала другая, всеисчерпывающая разгадка. Да, несомненно, она всегда была у

меня, и вот она: а все-таки лучший выход – взять всем людям да умереть. Настоящее решение всей жизненной чепухи – смерть и только смерть...

И никогда я не мог понять, как люди могут бояться смерти, как могут проклинать ее. Всегда ужас бессмертия был мне более понятен, чем ужас смерти. Мне казалось, в муках и скуке жизни люди способны жить только потому, что у всех в запасе есть милосердная освободительница – смерть. Чего же торопиться, когда конечное разрешение всегда под рукою? И всякий носит в душе это радостное знание, но никто не высказывает ни себе, ни другим, потому что есть в душе залежи, которых не называют словами.

Но вот Алеша взял да и назвал. И тогда меня охватил ужас. Алексей вырвал из мрака таинственное, неназываемое. Назвав, сорвал с него покровы. И лежит оно на свету – обнаженное, простое, ужасное в своей простоте и невиданном уродстве. И я не могу принять его.

Не могу принять этого, – не могу принять и противоположного. Алеша стоит с темными

глазами. Дядя-Белый лукаво улыбается.

Розанов увидел у меня на столе "Происхождение трагедии" Ницше. Он поднял брови и со скрытою усмешкою протянул:

– Вот вы чем начинаете интересоваться!

Мне вдруг вздумалось спросить его. И я спросил.

В ответ звучали мертвые, чуждые мне теперь слова, а зеленоватые глаза с изучающим вниманием смотрели на меня. И все больше в них проступало жесткое презрение. Как будто шел человек к спешной, нужной цели, а другой пристает к нему: как это люди ходят? Почему? Почему мы вот идем на двух ногах и не падаем?

И мне странно стало, зачем я его спросил. У него только одно: "Кто не за нас, тот против нас". И не над чем задумываться, можно только с насмешкою и презрением отмести мои вопросы в сторону.

Но я вдруг вспомнил, что Розанов – врач, и как раз психиатр. Может быть, он что посоветует относительно Алеши. И я все рассказал ему про Алешу.

Розанов сразу изменился. С горячим участием стал расспрашивать, справлялся о всех подробностях.

– Так, так... это очень важно. Так. Дома он? Я пойду поговорю с ним.

Розанов просидел с Алексеем более часу. Его голос звучал мягко и задушевно. Алеша по-обычному не смотрел в глаза, был взволнован и застенчив, держался со странною, подчиненною почтительностью подпоручика к генералу.

Они вышли пить чай. Маленькие зеленоватые глаза Розанова нежно и ободряюще смеялись на Алешу, властно-уверенным голосом он говорил:

– Вы подержитесь с полгода, сами тогда увидите, какая это все ерунда! А бром принимайте аккуратно, слышите! И обтирайтесь холодной водою.

– Обязательно, конечно! – поспешно отвечал Алеша, конфузясь.

Розанов был доволен собою. Из подчиненной конфузливости Алеши он заключил о силе своего влияния на него. А я видел, что Алеша только еще глубже спрятался в себя.

Я провожал Розанова. С серьезным лицом он ковылял, опираясь на палку, и говорил:

– Штука, в общем, очень скверная. Важно тут не то, что он сейчас хандрит. А вообще на всей их семье типическая печать вырождения: старший брат – пропойца; Марья Васильевна – с нелепо-неистовым стремлением распинать себя; другой брат, приват-доцент этот, отравился...

– Как отравился?! Евгений Васильевич?

– А вы не знали? Это, впрочем, скрывают. Но в литературных кругах всем известно, да и Марье Васильевне. Отравился цианистым калием... Вот эта-то гниль в крови и опасна.

Я жадно расспрашивал, и в душе у меня холодело.

Обреченный...

Внутри его – власть сильнее разума, от нее спасения нет! Незнаемое отметило его душу своим знаком, он раб и с непонимающею покорностью идет, куда предназначено. А в записке своей он писал:

"К своему выводу я пришел разумом, неопровержимою логикою..."

И я помню его брата Евгения. Блестящим молодым ученым он приезжал к Маше; его книга "Мир в аспекте трагической красоты" сильно на шумела; в ней через край била напряженно-радостная любовь к жизни. Сам он держался самоуверенно-важно и высокомерно, а в глаза его было тяжело смотреть – медленнодвигающиеся, странно-светлые, как будто пустые – холодной, тяжелой пустотой. Два года назад он скоропостижно умер... Отравился, оказывается.

Неведомые науке изменения в мозговом веществе, в нервах. Оттуда изменения вползли в душу, цепкими своими лапами охватили "свободный дух". Алексей и не подозревает предательства. Воспринимает жизнь искаленным от рождения духом и на этом строит свое отношение к жизни, ее оценку.

"Гниль в крови..." А у других, у меня – что там в крови, что в нервах, что под разумом? Как оно меняет мое восприятие и оценку жизни, как дурачит разум?

А я тоже доверчиво искал "разумом" – для себя и для Алеши. И надеялся найти что-нибудь не пустяковое.

Утром я сидел за книгою. Потом перестал читать и задумался – без мыслей в голове, как всегда, когда задумаешься. За стеною у хозяйки торопливо пробили часы... Сколько? Я очнулся, часы кончили бить. Было досадно – не успел сосчитать, а своих часов нет.

Не шевелясь, я осторожно придержал сознание, придержал память, прислушался к себе. И случилось удивительное. Где-то глубоко-глубоко во мне мерно и отчетливо повторился бой:

– Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум!  
Восемь ударов.

Я был поражен. Я вышел в сени и открыл дверь к хозяйке.

– Пелагея Федоровна, который час?  
– Сейчас восемь пробило.

Я воротился и взволнованно остановился у окна.

Глубоко внутри все слышался этот отдельный, независимый от меня бой:

– Тум-тум-тум...

Там, глубоко под сознанием, есть что-то свое, отдельное от меня. Оно вспоминает, пренебрежительно отбрасывая мою память... Я



сейчас читал книгу, думал над нею, все понимал. А теперь почувствовал, что все время внизу, под сознанием, тяжело думалось что-то свое, не зависимое от книги, думалось не словами и даже не мыслями, а так как-то. И потом, когда я задумался без мыслей, там все продолжалась та же сосредоточенная работа.

– Тум-тум-тум-тум... – звучало в душе что-то слепое и живое.

Как будто в гладком полу освещенной залы открылся люк, и ступеньки шли вниз, – тум-тум-тум! – и я спускался все глубже и в смятении вглядывался в просторную темноту, полную живой тайны.

Алеша в своей комнате обливался холодной водой, потом внес ко мне самовар. Мы сели пить чай. Не глядя мне в глаза, деланно-веселым голосом он рассказывал что-то про хозяйку и Феню. А я украдкой вглядывался в его осунувшееся лицо, в низкий, отлогий лоб...

"Он к своему выводу пришел "разумом, разумом"..."

Зашла Маша. Кроткими своими глазами, в которых глубоко был запрятан болезненный

ужас, она радостно смотрела на Алешу и говорила быстро-быстро, сыпля и обрывая слова. Знаю теперь, отчего этот ужас...

Я для разговора спросил Машу:

– Мне говорили, ты отказалась от урока у Саюшкиных?

Она вдруг оборвала себя, замолчала и стала смотреть в угол.

– Да... все равно...

– Отчего ты отказалась?

– Ну, все равно... Так... Это неважно... – Она покраснела и страдальчески наморщилась. – Я вообще уроков музыки больше не буду давать.

– Почему?

На ее чистом лбу появилась жалкая, упрямая складка.

– Господа, это бесполезно... Это все равно бесполезно... Вы будете спорить, а все равно меня не убедите... Я... не имею права давать уроков музыки...

Мы с изумлением слушали: на днях она при Катре играла Шопена, и Катра мельком сказала, что в ее музыке нет души. Маша два дня мучилась, думала и решила, – если это

так, то она не имеет права обманывать непонимающих и брать деньги за преподавание музыки.

Маша доказывала это, волнуясь и торопясь, и против воли в ее голосе зазвучали слезы отчаяния, – она теряла почти все свои заработки.

Алеша спорил, возмущался.

– Это ерунда, но если это даже так?.. Подумаешь! Этим купеческим дочкам ведь только и нужно выучиться играть пядеспань и матчиш... При чем тут душа!

– Ну, все равно... Алеша, оставь, не надо... Я не найду, что возразить, мне это будет тяжело, а все-таки я останусь при своем...

Я молчал и смотрел. К чему она ни подойдет, она из всего извлекает для себя страдание. Остается только наморщить, прикусить губу и смотреть на ее лучистые, живущие страданием глаза и понять, что иначе для нее не может быть.

Они спорили. Слова крутились, сталкивались и бессильно падали. Я пристально смотрел на лица. Пусть спорят, о чем хотят, пусть спорят о самом важном. Пусть говорят друг

другу о жизни, о боге – она, отрывающаяся от земли, и он, уходящий в землю. К чему тут слова и споры?

И пусть еще явятся люди, и пусть все спорят, – Розанов, Катра, Окорокова. Мне представлялось: Розанов убедил Машу, – и ее глаза засветились хищным пламенем, она познала смысл жизни в борьбе, она радуется, нанося и получая удары. И мне представлялось: Маша убедила Розанова, он в молитвенном экстазе упал на колени, простер руки к небу и своим свободным духом узрел невидимый, таинственно-яркий свет сверхчувственного...

Да, да! Отчего же это невозможно? Хотелось смеяться. Отчего это невозможно? Ведь одними и теми же законами живет разум – строгий, бесстрастный, сам себя направляющий...

– Тум-тум-тум... – шли звучащие ступеньки в темную глубину.

Спорят. А в глубине души у каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин; как будто спит и не слышит стучащихся снаружи слов и мыслей.

Иринарха дома не было, были только старики. Славно у них всегда – бедно, но уютно и оживленно, хочется чему-то улыбаться. В уголке сидит молчаливый Илья Ильич и курит. Шумит старенький, ярко вычищенный самовар, Анна Ивановна сыплет словами, и лицо у нее такое, как будто она сейчас радостно ахнет чему-то. И светлые голубенькие обои с белыми цветочками.

Сидела в гостях Юлия Ипполитовна, вечно больная тетка Маши. На губы она нацепила улыбку, а холодно-злые глаза смотрели повсегдашнему обиженно. Анна Ивановна рассказывала про какую-то знакомую.

– Две недели целых мучится. Кричит без перерыву. Морфий впрыскивают, ничего не помогает. У меня до сих пор в ушах стоит ее крик... Как мучится человек!.. Вчера ухожу от нее, – она поманила, я наклонилась, шепчет мне в ухо: Анна Ивановна, милая! Попросите доктора – пусть он меня отравит. Нет моих сил терпеть!..

Ее голос задрожал, и легко выступающие слезинки заблестели на глазах. Юлия Ипполитовна думала о себе, она забыла держать

на губах улыбку и измученно сказала:

– Господи, господи, зачем столько страданий дано человеку? Пускай бы умереть, – я всегда говорю: что в смерти страшного? Но только бы без страданий.

Анна Ивановна на секунду задумалась, как будто споткнулась, и одушевленно заговорила:

– Нет, нет, Юлия Ипполитовна! Нет! А по моему, уж лучше пусть страдания. Какие угодно страдания, только бы жить! Только бы жить! Умрешь, – господи, ничего не будешь видеть! Хотя всю жизнь готова вопить от боли, только бы жить! – Она засмеялась. – Нет, и думать не хочу о смерти! Так неприятно!

Илья Ильич курил в сторонке, слушал и играл бровями. Беззвучно смеясь, он наклонился ко мне.

– А мне это все равно, совсем спокойно слушаю! До меня это дело не касается!

– Что не касается?

– Вот, о смерти эти разговоры. Я не верю, что умру.

Юлия Ипполитовна посмотрела на него со своею внешнею улыбкою.

– То есть как не верите?

– Так-с, не верю! Как это может быть? Что все другие умрут, – я понимаю, а что я? Не может этого быть... Знаю, что умру, а не верю.

Пришел Иринарх с братьями-гимназистами. Они бегали на пожар.

– Ну что? Ну что?

– Да ничего не было! Просто из трубы выкинуло.

Иринарх смеялся и тер озябшие руки.

– Полное, всеобщее разочарование!.. Бегут все, толпятся, напирают. Уж личности какие-то появились, подсолнухи продают, сбить... Жадно все суются вперед, ворочают головами. "Где, где горит?" Городаш стоит, осаживает публику. Прет какой-то в широких штанах. "Куда, эй!" – "Да я вот только сюда". – "А в морду не желаешь получить?" – "В морду?" – Подумал, почесал в затылке. – "Нет, чтой-то сейчас не хочется..." "Да где же горит-то?" Два пожарных по крыше ходят... Ждала, ждала публика. Уж пожарные уехали. Все стоят, прижидаются: а может быть!..

Юлия Ипполитовна снисходительно заметила:

– Толпа ужасно падка на такие зрелища.

– Я и сам падок! Мне кажется, из меня мог бы выработаться профессиональный зевака. Как интересно! Ух, люблю пожары! Пламя шипит, люди борются, публика газеет!

Анна Ивановна замахала на него руками.

– А ну тебя! Есть что любить! А я ужасно боюсь... Батюшки, да что же это я? Вы все убежали, а наверху, должно быть, свет остался... Захарушка, пойди посмотри, что там наверху горит?

Захар пошел, воротился и торжественно доложил:

– Две лампы и одна штора.

Анна Ивановна ринулась наверх. Все захотали.

– Дурак! Как ты смеешь? Я тебе мать, а ты надо мною шутки шутишь?

– "Мать"... Ты до ста лет будешь жить, а все будешь мать?

Анна Ивановна хотела еще больше рассердиться, но рассмеялась.

– Вы знаете, это тут рядом в богадельне две старушки, мать и дочь. Одной девяносто лет, другой семьдесят. Дочь начнет мать ругать,



та ей: "Ты бы постыдилась, ведь я тебе мать", – "Да-а, мать! Вы до ста лет будете жить, а все будете мать?"

Иринарх, не слушая, пил чай и говорил:

– Эта потребность возбуждения, возбуждения! Горчицы, перцу, чтоб рот обжигало... На днях как-то взяла меня тоска, пошел я пройтись. Балаганчик, надпись: "Визориум из Парижа". Зашел. Восковые фигуры во фронт с выпученными глазами – Бисмарк, президент Крюгер, Момзен... "Разбойница Милла, наводившая панеку (через ять) не только на людей, но и на правительство"... и как полиция позволила... "Штейн, для личной выгоды убивший адскою машиною двести человек"... И тут же эта адская машина – ящичек какой-то из-под стеариновых свечей, скобочки ни к чему не нужные, винты, гайки, – подлинная! И совсем целенькая! "Любимая жена мароккского султана" – глаза открываются и закрываются, грудь дышит: турр-турр!.. турр-турр!.. Подходит рябой мужчина с двумя другими. "А где тут болезни показывают?" – "Не знаю. Да нету тут". – "Е-есть! Как нету? Должны быть!" Полез под какую-то рогожку, его от-

туда турнули... Уж требуется более острое ощущение! Разбойница Милла и жена мароккского султана приелись!.. Вышел я, всю дорогу хохотал.

В жестах Иринарха, в ворочанье глаз, в интонациях голоса живьем вставало то, о чем он рассказывал, и все видели жизнь сквозь наблюдающе-смеющуюся, все глотающую душу Иринарха.

Стоял смех. Гимназисты острили. Была та уютная, радующаяся жизни поверхностная веселость, какую полны все они. Анна Ивановна снова и снова наливала Иринарху чай. Иринарх жадно пил и жадно говорил:

– После обеда сегодня шатался я по городу. Лампадки в воротах Кремля. Узкие улицы, пахнет мятою и пеклеванками, мужики у лавазов. Каменные купеческие дома, белые, с маленькими окнами, как бойницы. И собор. Кажется, Гете сказал, что архитектура есть окаменевшая музыка. В таком случае наш собор есть окаменевший вой; так ровно, прямо – ууу!.. (он медленно повел ладонями вверх). И вдруг – стой: купола! Широкие луковичицы – и коротенькие, узенькие хвостики к

небу. Дескать, там, наверху, много делать нечего. Не то, что в готике. Сколько там порыва к небу! Дунь на миланский собор, – он полетит на воздух. А в наших куполах сколько тяжелой массы, сколько земли! Выть – вой, а все-таки цепляйся за земь. И этот собор наш прекрасен, всегда скажу! Почему? Потому, что он на своем месте, выражает свою сущность. А в мире все прекрасно, если оно проявляется из себя, если не косится по сторонам...

Саша серьезно спросил:

– Ира, ты уже сто стаканов выпил?

– Сто, сто, – рассеянно ответил Иринарх.

– Что ты врешь? – возразил Захар. – Двести пятьдесят, я же считал... Ира, ведь двести пятьдесят?

– Двести пятьдесят, да.

Все хохотали. Иринарх кротко огляделся.

– Я не расслышал, что вы меня спрашивали. – И продолжал говорить. – Кругом одна громадная, сплошная симфония жизни. Могучие перекаты сменяются еле слышными бие-ниями, большие размахи переходят в маленькие, благословения обрываются проклятиями, но, пока есть жизнь, есть и музыка жиз-

ни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах, через то и другое одинаково прозревает радостная первооснова жизни...

Иринарх помолчал и задумчиво прибавил:

– Тепло становится в голове, когда мысли эти прихлынут.

Кипел самовар. Весело улыбались голубенькие обои с белыми цветочками. Анна Ивановна умиленно слушала, хоть мало понимала, и в ее полном, круглом лице удивительное было сходство с бородатым, продолговатым лицом Иринарха. На меня нашло странное настроение. Я смотрел, – и мне казалось: одно и то же существо то вдруг расплывается в круглую женскую фигуру, то худеет, вытягивается, обрастает бородою и говорит о симфонии жизни... Потом вдруг перекинется стареньким, ярко вычищенным самоваром и весело бурлит про какую-то бездумную радость. Молчаливо скользнет голубым светом по стенам. И вот опять сидит с бородою, с крутым, нависшим лбом, в тихом восторге вслушивается в себя и говорит умные слова о жизни.

Ну да! Ведь в этом же все и дело. Что мыс-

ли Иринарха сами по себе? Дело вот в этом неуловимом, что здесь разлито кругом, что у всех у них в душах. Иринарх нечаянно познал самого себя, нащупал умом точку, с которой они здесь принимают жизнь. Вот отчего он живет в таком непрерывном, непонятном со стороны восторге. Это восторг от открытой истины. И он вправду открыл истину – для себя, для этого вот дома на Съезженской улице в городе Томилинске. Открыл свою истину. И свою-то истину, пожалуй, открыл не целиком, – не может же даже его истина быть такою смеющеюся. А он рад и думает, что нашел истину вообще, для всех людей, – убежден, что даже Юлия Ипполитовна, с ее брезгливыми к жизни глазами, должна бы только постараться понять...

И так для всех. Да, так для всех. Каждый спустись в глубь своей души и ищи там свою истину. И только для тебя она и годна. Но что же это? Искать и решать, каков параллакс Сириуса, каковы электрические свойства нерва – это мы можем все вместе. А зачем жизнь, в чем она – это решай каждый, запершись в себе?

Если я стану самостоятельно искать разумом, – это будут построения, годные для книги, для кабинета, для спора, но не для жизни. Если я познаю то, что во мне, – это годится только для меня. И там нет ничего для Алеши. Мы, живущие рядом, чужды друг другу и одиноки. Общее у нас – только параллакс Сириуса и подобный же вздор.

Но что же там у меня? Там, в таинственной, недоступной мне глубине? Я не знаю, не вижу в темноте, я только чувствую, – там власть надо мною, там истина для моей жизни. Все остальное наносно, бессильно надо мною и лживо. Как та "дума лютая", – я пел про нее, вкладывая в нее столько задушевной тоски, а самой-то думы лютой никакой во мне и не было.

Что же там у меня?

Я чувствую трепет, я вижу сквозь темноту, – в глубине моей души лежит неведомый мне хозяин. Он все время там лежал, но только теперь я в смятении начинаю чують его. Что он там в моей душе делает, я не знаю... И не хочу я его! Я раньше посмотрю, принимаю

ли я ту истину, которую он в меня вложил. Но на что же мне опереться против него?

– Костя, что с Алешей? Он так страшно изменился! У него какая-то темнота в глазах... Что с ним?

Маша жадно смотрела на меня, в ее глазах замер ужас. Душою своею она видела, как неотвратно надвигается что-то, чего другие не видят. Я успокаивал ее. У нее лились слезы, она быстро бормотала, как будто молилась про себя:

– Если бы он поверил!.. Если бы он поверил!..

– Маша, Маша! Разве это так просто? Что для этого нужно?

– Это так легко, – если бы вы знали!.. Нужно только в себя слушать... В себя смотреть... Вы слишком смотрите наружу, от этого и все...

Так мне это теперь странно! Как все легко заключают от себя к другим...

Маша говорила:

– Я это только ему рассказала. И тебе расскажу, ты не будешь смеяться... Ты ведь знаешь, какая я была раньше. Целые ночи плака-

ла от тоски, никакое лечение не помогало... Раз я читала жизнь Франциска Ассизского. Как он радостно и солнечно жил Христом и всем миром. Я легла, задумалась. Отчего я такая черствая и темная душой? Отчего для меня ужасен мир? И я так никогда не испытывала, – я вся сжалась в одну молитву. И вдруг в комнату вошел Христос. Я не видела его лица, ничего не видела. Но все во мне затрепетало. Он медленно приблизился, медленно вошел в меня, – и я почувствовала, что все во мне тихо, светло и твердо и что теперь все ужасы навсегда кончились... Потом мне рассказывала тетя Юля. Она вошла в комнату, подумала, – я умираю. Бросилась ко мне. Я вся светилась. – Что с тобой, Маша? – Я встала, обняла ее и заплакала.

Было это глухою ночью, перед рассветом. Я стоял на пустынной улице перед высоким, молчаливым трехэтажным домом. Вдруг с его фасада бесшумно взвилось под крышу огромное сплошное жалюзи. Ярko сверкнули ряды освещенных окон, в доме шумели и кричали. Из окна верхнего этажа вниз головою поле-



тел на мостовую человек, следом за ним упал тяжелый письменный стол. Из окна нижнего этажа тоже вылетело человеческое тело и тяжело ударилось о мостовую. В окнах появились пьяные офицеры в расстегнутых сюртуках и угрожающе крикнули:

– Мы сейчас будем стрелять!

Жалюзи быстро и бесшумно опустились, в доме все смолкло, погасло, и из-за жалюзи затрещали частые выстрелы. Все побежали, а я прилег за углом и выглядывал на пустынную улицу, по которой свистали пули.

Потом что-то я делал дома вместе с людьми, которых нельзя было различить. В окна залетали пули. Было очень жарко, кажется, кругом все горело. По изразцам печи, в пазухах комода и стола дрожали какие-то светлые, жаркие налеты, и странно было: дунешь – налет слетит, но сейчас же опять начинает светиться и дрожать. Алеша с прикушенным распухшим языком жался в темный угол и притворялся, что не видит меня.

И я вышел к перекрестку, где стояли извозчики, стал нанимать сани, но извозчики только смеялись надо мною. Тогда, уже не со-

бираясь ехать, я сел в сани самого заднего извозчика, он мне что-то сказал, я кротко возразил, и вдруг он, не торгуясь, поехал. Нас обгоняли на тройках пьяные офицеры из дома с завешанным фасадом. Я боялся – вдруг они заметят меня на темном извозчике и зарубят пашками.

Лучше уж проснуться!

Но я ехал не один. Рядом сидела Катра. Скорбная, она смотрела на меня огромными страдающими глазами и умоляюще шептала что-то, и меня охватывала бесконечная тоска. И вдруг оказалось, что она полураздета, мы кутаемся вместе в пушистую, теплую шубу, ко мне невинно прижимается девичья грудь под тонкой рубашкой. Я знаю, ей теперь не уйти, и тайная, жестокая радость закипает в душе. Никто об этом не узнает, и она боится офицеров. Прячась от себя, я обнимаю ее; под бесстыдную руку – горячее нагое тело. Она выгибается, алые, словно напившиеся кровью губы озаряют лицо странной усмешкой, и бесстыдные глаза пристально смотрят в мои зрачки... О, я давно знал, что она бесстыдная! И только бы не проснуться теперь, толь-

ко бы не проснуться!

Но я неловко повернулся. Она была еще здесь, но и не здесь. Ее не было. В пустой, высокой камерке с побеленными стенами я цеплялся за карниз под потолком, а в камерку на корточках впрыгнул студент, и на голове он держал огромный четырехугольный каравай ситного хлеба. Ужаснее ничего не могло быть. Студент, как тушканчик, прыгал с караваем по камерке и что-то бормотал, не видя меня; и если бы он меня увидел, – кончено!.. Сбоку чернела в полу четырехугольная ямка, глубиной в аршин; студент впрыгивал в нее и старался изнутри закрыть отверстие своим караваем, как камнем, – потом выскакивал и опять прыгал, как тушканчик. Я цеплялся за карниз, подбирал полы пальто, чтоб студент меня не задел. А он вдруг остановился, снял с головы каравай и, все сидя на корточках, медленно стал поднимать голову. Он поднимал, все поднимал. Я увидел напряженное, мясистое лицо с бородкою клинышком. Маленькие, мутные глаза взглянули из-под лба вверх и остановились прямо на мне...

Испуг юркнул в душу. Пора проснуться! Я

быстро разбудил себя и открыл глаза. Чуть светало. Сердце билось медленными сильными ударами. Я сел на постели и вслушивался в туманный ужас в своем теле.

В чем ужас? В чем ужас?

Пьяные офицеры и выстрелы, Алеша и светлые налеты, – все это было так себе. А ситный каравай на голове студента и его прыжки, – это был ужас безмерный... В чем же он?

Я вглядывался, как выходил из тела мутный ужас и очищал душу. Хотелось оглядываться, искать его, как что-то чужое, – откуда он прополз в меня? Куда опять уползает? Кажалось мне, я чувствую в своем теле тайную жизнь каждой клеточки-властительницы, чувствую, как они втянули в себя мою душу и теперь медленно выпускают обратно.

Уж было смешно вспоминать прыгающего студента с нелепым караваем. Смешно было, что ведь и в жизни, наяву, он прыгает, – такой же ничтожный и условно ужасный. Нужно только разбудить себя, нужно понять, что ужас не в нем, а во мне. Ужас, скука, радость ясная, – ничего нет в мире, все только во мне.

И что это у меня сейчас было с Катрой? В

душе темно плескались бесстыдные, жестоко-сладкие воспоминания и сожаления. И мутный ужас, ослабевая, еще шевелился там. А сознание как будто выбралось на какой-то камешек, высоко над плещущей темнотой, и, подобрав ноги, с тупым любопытством смотрело вниз.

Нет, бояться за Алексея нечего. Он, не унывая, лечится. Делает гимнастику, гуляет, обливается холодной водою. Стены домика трясутся от его прыжков: за стеною – плеск воды, фыркание, топот, как будто бегемот борется там с каким-то врагом.

Но я уже не могу успокоенно воротиться к прежнему. Что-то во мне сорвалось, выскочил какой-то задерживающий винтик. Так у меня было раз с часами, – треснуло что-то – и вдруг весь механизм заработал с неудержимой быстротою...

Я потерял себя. Совсем потерял себя, как иголку в густой траве. Где я? Что я? Я чувствую: моя душа куда-то ушла. Она оторвалась от сознания, ушла в глубину, невидимыми щупальцами охватывает из темноты мой

мозг – мой убогий, бессильный мозг, – не способный ни на что живое. И тело мое стало для меня чуждым, не моим.

Где я, я сам? Свободный, самопричинный? В том, что думает, сознает себя, – в моем "разуме"? Но почему же все самостоятельные мысли его так тощи и безжизненны, почему рождаемые им слова так сухи и ограничены? Лишь когда его захватят из темной глубины эти странные щупальцы, он вдруг оживает. И чем теснее охвачен щупальцами, тем больше оживает и углубляется. Мысли становятся яркими, творчески сильными, слова светятся волнующим смыслом.

Значит, там я, в этой глубине, откуда мне таинственно звучал бой часов? Но ведь там лежит темный раб, я это теперь ясно чувствую. Могучий Хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил. Неотступно силы эти стоят над ним, – над ним, над человечеством, над всею жизнью. И сколько этих сил – не перечесть и не учесть! Я могу возмущаться, противиться, проклинать – все равно: мои мысли, мои искания были бы совсем другие, если бы только мне было сейчас не двадцать четы-

ре года, а пятьдесят. Все было бы другим, если бы я был рабочим, если бы я был китайцем, если бы моими родителями были родители Иринарха. Даже если бы солнце у нас светило ярче и дольше, я бы, может быть, искал и нашел другое!.. Покорно плетусь я, куда ведет меня мой темный Хозяин-раб; высшее, до чего может подняться мой ум, – это сознать зависимость себя – свободного и бессильного.

Но я не хочу, я этого не могу принять!

В опорках на босу ногу и в мокром пиджаке, накинутом на плечи, Гольтяков стоял на углу Кривоноговского переулка. Трезвый, жалкий, трясущийся.

– Четыре дня не жрамши путаюсь, сам не знаю где... Всякая сволочь пальцем показывает, говорят: он пьяница, бездельник... Жену бьет... А нешто я дурее их, дураков? Меня вон хозяин в Серпухов зовет, чайник делать на выставку. Никто не может, а я вот взялся... И в Москве тоже, на Покровке... А между прочим – что же я тут?.. Го-ос-поди!..

Сеяла мга из мокрого неба, сеяла на желтоватое, опухшее лицо, на открытую голову с торчащими вихрами. И сочились слезы из

жалких, добрых глаз.

– Вот он, пинжак. На этом пинжаке несчастном весь день я проспал вон там, подле колодца. Поднял голову, – на пинжаке собака легавая лежит. Лысая. А такой собаки у нас во всей округе нет. Что же это? Все смотрят, смеются... Ишь, говорят, собаку свел! Откуда собака взялась? Поглядел, – нету ничего!.. Вот какую кару терплю через вино!..

И слезы лились, и посинелою рукою он утирал всхлипывающий нос. Что это – тот человек или другой? Он придет домой, слезами обольет колени Прасковьи. Будет работать по двадцать часов – ласковый, виновато-тихий, просветленный. Я смотрел на него, смотрел. Тени не было того Гольтякова. А взять стакан водки, – осязаемый чайный стакан, с осязаемой жидкостью, которую можно купить за пятнадцать копеек, – и сотворится в человеке другая душа. Безумием захлебывающейся злобы вспыхнут добрые, плачущие глаза, тихая душа закрутится в кровавой жажде истязаний, и будет другой человек.

Гольтяков всхлипывал и бормотал:

– Пойду к Параше... Даст она мне чайку,



подлецу проклятому?.. Параша, ангел мой!.. Касатка!..

На толкучке топчутся люди. Кричат, божатся, надувают. Глаза беспокойно бегают, высматривая копейку. В разнообразии однообразные, с глазами гиен, с жестоким и окончательным богом в душе, цыкающим на все, что рвется из настоящего. Как из другого мира, проезжают на дровнях загорелые мужики в рваных полушубках, и утрюмо светится в их глазах общая тайна, тихая и крепкая тайна земли. Среди них хожу я, с мозгом, обросшим книжными мыслями.

А когда задрожат в воздухе гудки, по мосткам тянутся вереницы еще новых людей. На маслено-серых лицах неуловимый отсвет благородства, даваемого трудом, в глазах – пробуждающаяся, свободная от пут сила. Чем, кем она разбужена? Огнем ненависти, рвущимся из сдавленной жизни? Вот этими кирпичными зданиями с высокими трубами?.. Идут вереницами, стучат по мосткам. Если бы они сидели в тех холодных лавочках на толкучке, то их лица горели бы блудящими

огоньками гиен. Будущее они несут? А что с ними, творцами будущего, сотворит будущее?

В сумерках шел я вверх по Остроженской улице. Таяло кругом, качались под ногами доски через мутные лужи. Под светлым еще небом черною и тихою казалась мокрая улица; только обращенные к западу стены зданий странно белели, как будто светились каким-то тихим светом. Фонари еще не горели. Стояла тишина, какая опускается в сумерках на самый шумный город. Неслышно проехали извозчичьи сани. Как тени, шли прохожие.

И вдруг ясно, очевидно мне стало, что это вовсе не люди идут, – это медленно движутся молчаливые силуэты-марионетки. И это была правда. Что думалось до сих пор мыслью, теперь вдруг открылось душе. Мир на мгновение распахнулся и явил свою тайную, скрытую жизнь.

И страшно-молчаливо проходили люди-силуэты, придавленные великою, вслушивающейся в себя тишиною.

Марионетки, рабы Неведомого, тени тем-

ного... Ходят, слепо живут своим маленьким сознанием и не видят огромной, клубящейся внизу темноты... И к ним обращаться с вопросами!..

Спуститься в темноту, откуда встают тени. Там что-то всех должно объединить. Там, где хаос – изменчивый, прихотливый, играющий темною радугою и неотразимый в постоянстве своего действия на нас. Туда спуститься к людям, там крикнуть свой вопрос о жизни. Если бы оттуда раздался ответ, – о, это была бы покоряющая, все разрешающая разгадка. Как молнией, широко и радостно осветилась бы жизнь. Но там молчание. Ни звука, ни отклика. Только смутно копошатся вечно немые, темные Хозяева.

Мерное, слабое потрескивание сзади. И, порывисто дергаясь, быстро двигаются фигуры по экрану кинематографа. Всплескивают руками, бросаются в окна. Патер благочестиво слушает лукаво улыбающуюся испанку, возводит очи к небу и, жуя губами, жадно косясь на полуобнаженную грудь. Мчится по улице автомобиль, опрокидывая все встреч-

ное.

Вот где – голо вскрытая сущность жизни! Люди смотрят и беспечно смеются, а сзади мерно потрескивает механизм. Придешь на-завтра. Опять совсем так же, не меняя ни жеста, бросается в окно господин перед призраком убитой женщины, патер жадными глазами заглядывает в вырез на груди испанки. И так же, совсем так же мчится ошалевший автомобиль, опрокидывая бебе в колясочке, столы с посудой и лоток с гипсовыми фигурами. А сзади чуть слышно потрескивает механизм.

Потом выходишь на улицу. Бегут извозчи-чьи лошади. Гимназист с криво сидящим ран-цем покупает у грека халву, похожую на за-мазку. Идет господин, блестя новым цилин-дром. И кажется, все они тоже чуть-чуть дер-гаются: все чужды душе, мертвы и плоски. И невыразимо смешна их серьезная самоуве-ренность, их неведение о безвольном своем участии в мировом кинематографе.

Слякоть, сырость. Люди забыли, есть ли на свете солнце. Тихо тает внутри сугробов.

А сегодня с утра вдруг повалил молодой,

осенне-пахучий снег и настала мягкая зима.

От Катры получил странную записку, где настойчиво она звала меня прийти вечером. Пришел я поздно. Было много народу. Кончили ужинать, пили шампанское. По обычному прямо чувствовалась тайная влюбленность всех в Катру. Катра была задорно весела, смеялась заражающим смехом, глаза горячо блестя. Каждый раз она другая.

Сидел приехавший из Москвы Крахт, маленький человек с огромным лбом и мясистым носом. Все почтительно его слушали. Говорил он как раз о какой-то высшей свободе. Я яро сцепился с ним.

Он снисходительно возражал. Сознание рабства, о котором я говорю, – это естественная стадия. Конечно, со временем и я превзойду ее. Эмпирическая необходимость во все не противоречит высшей, трансцендентальной свободе.

Я же говорил: никого до сих пор я не знаю, кто бы честно "превзошел" эту стадию. С тайным страхом ее оббегают обходными путями, – так сделали и Кант и Фихте. Видно, слишком невыносимо для человеческого духа ощущение

ние великого своего рабства.

Катра внимательно слушала. Звенели у крыльца бубенчики троек. Крахт стал возражать более серьезно. Говорил он очень умно и учено. Я же замолчал; вдруг я ясно увидел сидевшего в нем его Хозяина.

И мне стало смешно: да, велика сила Неведомого, если высшее рабство оно способно претворять в сознании людей в высшую свободу!

Я прихлебывал шампанское. Молчаливые золотые искорки крутились за хрустальными стенками. Звонящие искорки со смехом крутились в голове. Крахт говорил. Его тусклые глаза медленно мигали, губы шевелились. Я прятал под ладонью улыбку... Потихоньку подойти сзади к многоумному этому человеку, незаметно запустить в него руку, нащупать в глубине его Хозяина. Хорошенько притиснуть Хозяина, потом встряхнуть и опрокинуть на спину. Отойти и посмотреть, – что станется с свободным духом г.Крахта? Со смехом смотреть, как с тою же эрудицией, с тою же неопровержимую логикою дух его затанцует совсем другое.

И пусть бы начался общий танец. Танцевали бы все стройные мирозерцания, все неопровержимые логики, все объяснения смысла жизни. Танцевали бы, крутились и сшибались, как золотые искорки в бокале, сходились бы и расходились. А я бы смотрел и смеялся...

Толстый адвокат Баянов разливал по бокалам шампанское. Катра вскочила.

– Господа, кончайте! Едем!

Стояли у подъезда трое троечных саней и легкие санки для двоих без козел. Катра быстро села в санки и крикнула мне:

– Константин Сергеевич, садитесь со мною!

Санки мчались по пустынным улицам. Звеня бубенцами, следом неслись тройки. Тускло светились у домов редкие фонари, а небо полно было звезд.

– Весна, весна скоро!.. Константин Сергеевич, видите небо? Завтра солнце будет... Солнце! Господи, какая мутная была темнота! Как люди могут жить в ней и не сойти с ума от тоски и злости! Я совсем окоченела душой... Все время мне одного хотелось: чтоб пришел ко мне кто-нибудь тихий, сел, поло-

жил мне руки на глаза и все бы говорил одно слово: Солнце! Солнце! Солнце!.. И никого не было! Хотела сегодня закрутиться, закутить вовсю, чтобы забыть о нем, а вот оно идет. Будет завтра. Любите вы солнце?

Горячие глаза заглядывали мне в лицо и упоенно смеялись.

– Но вы-то, вы-то!.. Константин Сергеевич, что вы такое сейчас говорили? Всегда я в душе чувствовала, что вы не такой, каким кажетесь. Вот вы спорили с Крахтом о рабстве, о ваших неведомых силах, – и мне казалось: вы говорите из моей души, отливаете в слова то, что в ней. Так было странно!

Я с любопытством оглядел ее.

– Вы тоже чувствуете эти силы?

Катра задумчиво спросила:

– А скажите, вам страшно? Страшно оттого, что они над вами?

Вдруг она стала мила мне, хотелось говорить по душе.

– Прежде всего обидно очень, Катерина Аркадьевна. И пусто... Да! И страшно.

– А скажите еще... – Она лукаво вглядывалась в меня. – Кружится у вас сейчас голова?



От шампанского?

Недоумевая, я ответил:

– Да, немножко.

Катра сильно ударила вожжой лошадь. Санки понеслись. Она рассмеялась.

– Смотрите, как странно! Где-то во Франции люди поймали золотистого, искрящегося духа, закупорили в бутылку, переслали нам. И вот он пляшет в нас и мчит куда-то. Говорит за нас и делает, в чем, может быть, мы завтра будем раскаиваться. Разве сейчас это мы с вами? Это он. А какая воля, какой простор в душе! Жутко, какая воля. А это не мы, а он.

Я наморщил брови и соображал.

– И сколько над душою стоит других духов – могучих, темных, обольстительных. Куда до них французскому чертенку! И всем им – власть. И вам только страшно, больше ничего?

Она наклонилась, заглядывая мне в лицо странно смеющимися глазами.

– И Алексея Васильевича вам только жалко, больше ничего? Только жалко?

Дикие глаза были. Трепетало и билось в

них дерзкое, радостно-безумствующее пламя. И в пламени этом вдруг мне почуялась какая-то особенная, жутко захватывающая правда.

Катра шаловливо рассмеялась, близко наклонилась к моему уху и прошептала:

– И будете, как я.

Горячею змейкой юркнул в меня ее шепот. С золотистым звоном все закружилось в голове.

Мягкий воздух обвевал лицо. Город был назади. В снежной мгле темнели голые леса. Мчались мы, как в воздухе на крыльях, тройки звенели сзади.

Что-то мы говорили бессвязное, но разговор шел помимо слов. Молчаливо свивались души в весело-безумном вихре, радовавшемся на себя и на свою волю.

Я что-то хотел сказать, Катра нетерпеливо прервала:

– Не говорите. Дайте руку... Да снимите ваши варежки нелепые. Видите, я сняла перчатку...

В Гастеевской роще сделали привал. На тихой белой поляне, под яркими звездами,

громко говорили, смеялись, пили вино.

Иринарх увлеченно спорил с Крахтом. Катра, не стесняясь, стояла со мною под руку и слегка прижималась к моей руке. Лукаво смеясь, она наклонилась и прошептала:

– Вы знаете, вот эти двое. Совсем разные люди. А отнять у них слова – оба они стали бы совсем пустые. Оба думают мыслями, выражаемыми словами.

Подошел Иринарх. Он улыбался, но глаза смотрели грустно и ревниво.

– Видели, господа, звезды какие? Ехал, – все время глаз не сводил. Люблю на звезды смотреть, – сколько жизни запасено во вселенной! Мы умрем, все умрут, земля разобьется вдребезги, а жизнь все останется. Весело подумать!

– А звезды – это все солнца! Огромные, горячие! Андрей Андреевич, налейте мне еще! – Катра протянула Баянову стакан. – Господа, тост: за громадные яркие солнца и за... еще за... Нет, больше ничего!

Мы катили назад. Катра нетерпеливо твердила:

– Гоните скорее! Скорее! Ух, как будто в

воздухе летишь!

Она крикнула во весь голос. Эхо покати-лось за бор.

– За солнце пили... Хотела я еще сказать – знаете что? "За рабство!" Да они бы не поняли. Вы знаете, я когда-то... Да бросьте вожжи, она сама будет бежать... Дайте руку...

Лошадь ровно побежала. Горячая рука говорила в моей руке. Глаза мерцали и блуждали.

– Вы знаете, я когда-то была восточной царевной. Царь-солнце взял меня в плен и сделал рабыней. Я познала блаженную муку насильнических ласк и бича... Какой он жестокий был, мой царь! Какой жестокий, какой могучий! Я ползала у ступеней его ложа и целовала его ноги. А он ругался надо мною, хлестал бичом по телу. Мучительно ласкал и потом отталкивал ногою. И евнухи уводили меня, опозоренную и блаженную. С тех пор я полюбила солнце... и рабство.

Я слушал, раскрывая глаза. Где это уже было? Где была эта странная, блуждающая усмешка, эти бесстыдные глаза? Да. И санки даже были тогда.

– Я часто вас ненавижу, Константин Сергеевич. Но было между нами что-то, и мы тайно связаны. Помните, в подвале... Пахло керосином...

Я резко прервал:

– Не говорите про это!

– Помните, вы тогда меня вырвали из бегущей толпы... Ух, какую я в вас тогда почувствовала силу. Как волна, она обвила меня и вынесла...

– Да замолчите вы! Слышите?! – грубо крикнул я.

Катра осеклась и взглянула мне в лицо впивающимися глазами. И вдруг в них мелькнула ненависть. Она быстро отвернулась.

С чуждым удивлением, как очнувшийся лунатик, я оглядывал то, что создалось между нами. Французский чертенок. Красивое тело человеческой самки. Предательские инстинкты собственного тела, – и извольте видеть: "правда" какая-то открывается! А эта склизкая болотная змейка вьется в темной воде и на всем оставляет свою ядовитую слюну – на самых чистых белых лилиях... Бррр!..

– Простите, что я так крикнул. Но я слыш-

ком иначе отношусь к тому, что нам тогда пришлось вместе пережить.

Катра беззаботно рассмеялась, взяла вожжи и погнала лошадь.

Холодно, холодно в нашем домишке. Я после обеда читал у стола, кутаясь в пальто. Ноги стыли, холод вздрагивающим трепетом проносился по коже, глубоко внутри все заглодело. Я подходил к теплой печке, грелся, жар шел через спину внутрь. Садился к столу, – и холод охватывал нагретую спину. Вялая теплота бессильно уходила из тела, и становилось еще холоднее.

Алексей, скорчившись под пальто, лежал у себя на кровати.

Я взял лопату и пошел в сад чистить снег. На дворе меня увидела Жучка и радостно побежала вперед. Она обнюхивала сугробы, с ожиданием поглядывала на меня. Я потравил ее в чащу сада. Жучка с готовностью залаяла, бросилась к забору, волнисто прыгая по проваливавшемуся снегу. Полаяла, потом воротилась и заглянула мне в глаза.

"Видишь? Я сделала, что надо!"

Робко начала ласкаться. Я погладил ее. Она обрадовалась и бросилась лапами на пальто.

– Ну, будет!.. Пшел!

Жучка отошла.

Я долго чистил снег. Прозрачно серела чаща голых сучьев и прутьев. Над березами кружились галки и вороны. Вдали звонили к вечерне. Солнце село.

Вдруг я заметил, что я давно уже без варежек, вспомнил, что уж полчаса назад скинул пальто. Изнутри тела шла крепкая, защищающая теплота. Было странно и непонятно, – как я мог зябнуть на этом мягком, ласкающем воздухе. Вспомнилась противная, внешняя теплота, которую я вбирал в себя из печки, и как это чужая теплота сейчас же выходила из меня, и становилось еще холоднее. А Алешка, дурень, лежит там, кутается, придвинув кровать к печке...

Темнело. К вечерне перестали звонить. В калитке показалась Феня и тихим, ласкающим голосом крикнула:

– Степочка!

Узнала меня, ахнула и скрылась. Сучья тихо шумели под ветерком, поскрипывал ствол

ели. На самой ее верхушке каркала старая ворона, как будто заливался плачем охрипший новорожденный ребенок. Жучка ткнула мордую в мою руку.

– Ты что?

Смешно было, как она говорит глазами. Я опять поуськал ей на забор. Она опять с готовностью залаяла. Лаяла, и поглядывала на меня, и говорила взглядом:

"Вот, делаю, что тебе нужно. И даже не спрашиваю себя, есть ли в этом смысл".

Я подозвал ее и пристально заглянул в глаза. Жучка покорно изогнулась, робко завиляла хвостом. Я улыбнулся и продолжал смотреть. Она радостно засмеялась глазами и хотела было броситься ласкаться, но не бросилась, а медленно опустилась на задние лапы.

И мы смотрели друг другу в глаза.

Долго смотрели. И вдруг я почувствовал, – мы с нею разговариваем! Не словами, а тем, что лежит в темноте под словами и мыслями. Да, это есть в ней так же, как во мне. Такое же глубокое, такое же важное. Только у меня над этим еще бледные слова-намеки, несамостоятельная мысль, растущая из той же темноты.



Но суть одна.

И сквозь темноту, в которой шел наш разговор, вдруг мне почудился какой-то тихий свет.

Нежно и ласково я погладил Жучку по голове. Она прижалась мордой к моему колену, и я любовно гладил ее, как ребенка. Все кругом незаметно сливалось во что-то целое. Я смотрел раскрывающимися, новыми глазами. Это деревья, галки и вороны на голых ветвях, в сереющем небе... В них тоже есть это? Это – не сознаваемое, не выразимое ни словом, ни мыслью? И главное – общее, единое?

Птицы притихли на ветвях, охваченные сумеречным небом. Небо впитывало в себя и их и деревья... Мне показалось, что я к чему-то подхожу. Только проникнуть взглядом сквозь темный кокон, окутывающий душу. Еще немножко, – и я что-то пойму. Обманчивый ли это призрак или открывается большая правда?

Или только кажется? Или все узнается?

Но все потерялось. Что-то важное и решающее скрылось.

Я воротился домой. Алеша, заспанный и

озябший, нес из сени охапку дров. Он угрюмо сказал:

– Хочу еще раз печку протопить... Как холодно.

Было странно смотреть на него. Холодно!..

– Да пойдешь лучше, Алеша, поработай в саду. Я весь горю жаром!

Он вяло ответил:

– Ну, не хочется.

В кухне на остывающей плите лежала и мурлыкала серая хозяйская кошка. С незнакомым раньше любопытством я подошел к ней со свечкою и тоже заглянул в глаза.

– Кс-кс-кс!

Она взглянула прямо в мои зрачки, потом прищурилась. Внутри ее глаз как будто что-то закрылось, и она снова начала мурлыкать. Теперь узкие щелки зрачков в прозрачно-зеленоватых глазах смотрели на меня, но смотрели мимо моей души. И я жадно вглядывался в эти глаза – как будто слепые и в то же время бесконечно зрячие. Я засмеялся. Она не приняла моего смеха и продолжала смотреть теми же серьезно-невидящими глазами. Что-то в них было от меня закрыто, но было закры-

то – в них не было пустоты. Было что-то важное, и я чувствовал, – это возможно было бы понять.

Что такое творится?

От Дяди-Белого вышла молодая женщина. Красивая, одетая усиленно пышно, как одеваются женщины, вдруг получившие возможность наряжаться.

С страдальческой насмешкой Дядя-Белый спросил меня:

– Видели, какая графиня прошла?

– Кто это?

– Вы ее встречали. Сестра моя. Она с Турманом живет.

Он взволнованно теребил курчавую бородку.

– Кутят с Турманом. Деньги расшвыривают, как купцы. Откуда у них деньги? Слыхали вы, на той неделе артельщика ограбили за вокзалом, на пять тысяч? Думаю, не без Турмана это дело.

– Константин, дай-ка мне опия, – второй день живот болит.

– Вот, на!.. Да дай я тебе накапаю.

– Я сам. – Алексей нетерпеливо тянул к себе бутылочку и не смотрел мне в глаза. – Ведь несколько раз придется принимать, что же каждый раз к тебе ходить!

Наши глаза встретились. Я побледнел и, задыхаясь, схватил его за руку.

– Алеша!

– Да что ты? Что с тобой?

Мы молча смотрели друг другу в глаза. Алексей удивленно пожал плечами и пустил бутылочку.

– Ну, бери, накапай сам!

Вздор! Мне это только показалось! Он так старательно лечится! Сначала должна бы пропасть вера в лечение, он должен бы бросить свою гимнастику и обливание.

Но ночью я вдруг проснулся, как будто в меня вошло что-то чужое. Из комнаты Алексея сквозь тонкую перегородку что-то тянулось и приникало к душе.

Ясно, все ясно! Как я мог сомневаться?.. Недавно к нам зашла Катра, и меня тогда поразило, – Алексей равнодушно разговаривал с нею, и откуда-то изнутри на его лице отразилась удовлетворенная, ласковая снисходи-

тельность. Как будто он был доволен, что может смотреть на нее с высокой высоты, до которой ее чарам не достать; и с Машей он так нежен-нежен, и такой он весь ясный, тихий, хотя и не смотрит в глаза.

Да, конечно, так! Он по-прежнему носит свою мысль, прочно сжился с нею и утих в ней. Но силы ушли на те две ночи, он копит новые силы, и вот почему лечится. Ведь невозможно человеку через каждую неделю приговаривать себя к смертной казни.

Сквозь перегородку все шло в душу что-то напряженное и гнетущее. Как будто упорно лилось какое-то черное электричество. Вся комната заполнялась тупою, властною силою, она жизненно чувствовалась в темноте. Неподвижно и скорбно вставало Неведомое, некуда было от него деться.

Я поднялся на руках, огляделся. Исчезла перегородка. И я увидел: Алеша лежит на спине, с пустыми, остановившимися глазами. А Хозяин его, как вывалившийся из гнезда гад, барахтается на полу возле кровати; в ужасе барахтается, вьется и мечется, чуя над собою недвижную силу Неведомого. Заражаясь, за-

трепетал и мой Хозяин. И я чувствовал, – в судорогах своих он сейчас тоже выбросится на пол, а я с пустыми глазами повалюсь навзничь.

Я вскочил, разрывая очарование. Прислушался. За перегородкою было тихо, как-то особенно тихо. Я зажег свечу и пошел к Алексею. Дверь не была заперта. Алексей быстро поднял от подушки чуждое лицо. И опять нельзя было узнать, спал он или думал.

– Что ты? – спросил он.

– Мне не спится, а все папиросы вышли...

Можно у тебя взять?

– Возьми, конечно...

Я пристально смотрел на него.

– Ты спал?

Он недовольно нахмурился.

– Спал, конечно.

Никогда я этого раньше не представлял себе: душа одного человека может войти в душу другого и смешаться с нею. Я теперь не знаю, где Алексей, где я. Он вселился в меня и думает, бьется, мучится моею душою; ища для себя, я как будто ищу для него. А сам он, уже

мертвый, неподвижно лежит во мне и раздражается и неподвижным, мутным взглядом смотрит мне в душу.

Охватывает жуткая дрожь и раздражительное нетерпение. Я смотрю на его осунувшееся лицо с остановившеюся в глазах мыслью. Ну, ну!.. Чего ж ты ждешь?

Я долго сегодня бродил за городом. Небо сияло. Горячие лучи грызли почерневшие, хрящеватые бугры снега в отрогах лощин, и неуловимый зеленый отблеск лежал на блеклых лугах. Я ходил, дышал, перепрыгивая через бурлящие ручьи. Вольный воздух обвевал лицо. Лучи сквозь пригретую одежду пробивались к коже, все тело напитывалось ликующим, звенящим светом... Как хорошо! Как хорошо!

Небо безмерное от сверкающего света. Солнце смеется и колдует. Очарованно мелькают у кустов ярко-зеленые мотыльки. Сорока вспорхнет, прямо, как стрела, летит в голую чащу леса и бессмысленно-весело стрекочет. Чужды липкие вопросы, которые ткал из себя сморщившийся, затемневший Хозяин.

Где они? Тают, как испаренья этой земли, замершей от неведомого счастья. Отчего в душе такая широкая, такая чистая радость?

Отчего... Я не могу не подчиняться, но меня светлый колдун не обманет. О, я знаю: весеннее солнце коснулось крови, воздух чистого простора влился в легкие, в коре мозговых полушарий расширились артерии, к ней прихлынуло много горячей крови, много кислорода, – и вот все безысходные вопросы стали смешно легкими и нестрашными. Хороша жизнь, хорош я, дороги и милы братья-люди.

Ну, вот оно и решение! Как просто, – словно настоящее!

Потянуло в город, где суетятся братья-люди.

И я ходил по сверкающим улицам с поющими ручьями, залитым золотом солнцем. Что это? Откуда эти новые, совсем другие люди? Я ли другой? Они ли другие? Откуда столько милых, красивых женщин? Ласково смотрели блестящие глаза, золотились нежные завитки волос над мягкими изгибами шей. Шли гимназистки и гимназисты, светясь молодостью. И она – Катра. Вот вышла из



магазина, щурится от солнца и рукою в светлой перчатке придерживает юбку... Царевна! Рабыня солнца! Теперь твой праздник!

Мускулистые плотники с золотыми бородами тесали блестящие бревна. Старик нищий, щурясь от солнца, сидел на сухой приступочке запертого лабаза, кротко улыбался и говорил с извозчиками.

– Табачку понюхал, да и пошел в казенку... Бабка подсмолит: "Ишь, старьй черт, опять в кабак? Пойдем домой!.." Ну, ладно, пойдем!.. Ха-ха-ха!

– А жива у тебя бабка-то? – лениво спросил извозчик.

Старик радостно ответил:

– Жива, жива, милый!.. Жива, слава тебе господи!

Он снял облезлую шапку и стал креститься. И голова его была благообразная, строгая.

Звенели детские голоса. Спешили люди, смеялись, разговаривали, напевали. Никто не обманывал себя жизнью, все жили. И ликовали пропитанные светом прекрасные тела в ликующем, золотисто-лазурном воздухе.

Через два дня.

В Кремле звонили ко всенощной. Туманная муть стояла в воздухе. Ручейки вяло, будто засыпая, ползли среди грязного льда. И проходили мимо темные, сумрачные люди. Мне не хотелось возвращаться домой к своей тоске, но и здесь она была повсюду. Тупо шевелились в голове обрывки мыслей, грудь болела от табаку и все-таки я курил непрерывно; и казалось, легкие насквозь пропитываются той противною коричневою жижею, какая остается от табаку в сильно прокуренных мундштуках.

Из-под ворот текли на улицу зловонные ручьи. Все накопившиеся за зиму запахи оттаяли и мутным туманом стояли в воздухе. В гнилых испарениях улицы, около белой, облупившейся стены женского монастыря, сидел в грязи лохматый нищий и смотрел исподлобья. Черная монашенка смиренно кланялась.

— Во имя скорой послушницы царицы небесной пожертвуйте, благодетели!

И шли по слякоти скучные люди с серыми лицами полные мрака и смрадного тумана.

Блестели желтые огоньки за решетчатыми окнами церквей. В открывавшиеся двери доносилось пение. Тянулись к притворам черные фигуры. Туда они шли, в каменные здания с придавленными куполами, чтобы добыть там оправдание непонятной жизни и смысл для бессмысленного.

В лужах отражались освещенные окна низкого трактира. Я подумал и вошел. В дверях столкнулся с Турманом. Он выходил с молодой черноволосой женщиной. Турман прямо мне в лицо взглянул своим темным взглядом, вызывающе взглянул, не желая узнавать, и прошел мимо.

Я сел к столику и спросил водки. Противны были люди кругом, противно ухал орган. Мужчины с развязными, землистыми лицами кричали и вяло размахивали руками; худые, некрасивые женщины смеялись зеленовато-бледными губами. Как будто все надолго были сложены кучею в сыром подвале и вот вылезли из него – помятые, слежавшиеся, заплесневелые... Какими кусками своих изломаченных душ могут они еще принять жизнь?

Везде пили, курили. Глотали едкую влагу, втягивали в легкие ядовитый дым... Ну да. Ведь праздник! Надо же радоваться! А разве это легко?

Бледный парень, заломив шапку на затылок, быстрым говорком пел под гармонику:

Сидел милый на крыльце

С выраженьем на лице...

Половой поставил передо мной полубутылку. Я смотрел в зеленовато-ясную жидкость, смотрел кругом на людей и думал:

"Погодите вы все, – вы, противные! И ты, мутная, рабская жизнь! Вот сейчас я буду всех вас любить. В ответ поганым звукам органа зазвонят в душе манящие звуки, дороги станут братья-люди, радостно улыбнется жизнь, – улыбнется и засветится собственным, ни от чего не зависимым смыслом!"

Я вышел из трактира с двумя фабричными парнями. Они любовно-почтительно слушали меня и кивали головами, а я с пьяным, фальшиво-искренним одушевлением говорил о завоевании счастья, о светлом будущем.

Голова шумела, в душе был смех. Люди орали песни, блаженно улыбались, смешно

целовались слюнявыми ртами. Мужик в полушубке стоял на карачках около фонарного столба и никак не мог встать. С крыльца кто-то крикнул:

– Ванька!

Мужик сосредоточенно ответил:

– Был Ванька, да уехал!

Поднял ко мне лохматое лицо, лукаво подмигнул и засмеялся. Кто-то пробежал мимо в темноту.

– Ванька-а-а!!

– Был Ванька, да уехал!

Лохматое лицо подмигивало мне и радостно смеялось.

Отовсюду звучали песни. В безмерном удивлении, с новым, никогда не испытанным чувством я шел и смотрел кругом. В этой пьяной жизни была великая мудрость. О, они все поняли, что жизнь принимается не пониманием ее, не находениями разума, а таинственной настроенностью души. И они настраивали свои души, делали их способными принять жизнь с радостью и блаженством!.. Мудрые, мудрые!..

Я звонил к Катре.

– Дома Катерина Аркадьевна?

Горничная удивленно оглядела меня.

– Сейчас доложу. – Сходила и воротилась. –

Пожалуйста!

Катра вышла со свечкою в темную гостиную. Лицо у нее было странное и брезгливо-враждебное.

– Вы одна... Я боялся, что у вас народ будет! Хотите, – пойдёмте погуляем?.. Чудная погода!

Катра пристально вглядывалась в меня. Вдруг она расхохоталась, как девочка.

– Знаете, который час?

– Н-нет.

– Двенадцатый!.. И на дворе сырость, туман... Ха-ха-ха!.. Пойдёмте... Только за город пойдём, там туман чистый...

Она смеялась и не могла остановиться и, смеясь, поспешно одевалась.

– Только вы мне много-много говорите и не смотрите на меня. Слышите, – не смотрите! Я сейчас всех выгнала от себя. Боже мой, какие скучные люди!.. И какая тоска!.. Вы много будете говорить?

– А вам разве словами нужно много гово-

ритель? Мы все время много разговариваем, только не словами, – вдруг сказал я.

Она перестала смеяться, быстро взглянула на меня.

– Да-а?.. – И широко открыла глаза. – Идемте!

Мутный туман затягивал поля, но на шоссе было сухо. Над городом тускло белело мертвое зарево от электрических фонарей. Низом от леса слабо тянуло запахом распускающихся почек.

И я говорил, говорил.

– ...Алексея я нисколько теперь не жалею, его я почти не чувствую. Но я весь охвачен запахом трупного разложения, я никуда не могу уйти от него. И не могу уйти от вставших отовсюду сил. Неведомые, они везде, кругом, – в луче солнца, в гнили тумана, в моем теле. В душе темнота, наверху бессильною змейкою крутится сознание, и я с презрением смеюсь над ним. Но сейчас, – вот перед тем как прийти к вам, – вдруг в этой темноте запылал странный, мелькающий свет. С замиранием я вспомнил о вас и пошел к вам... Катра! Есть жизнь и для отверженных – для вас, для Але-

ши, для меня! Вашу мутную душою вы почув-  
ляли путь. Пусть сознание вздымается на ды-  
бы и бросается назад, пусть гадливо трепе-  
щет, презирает и ужасается... Вперед, holla!  
Под ногами обрыв и черная ночь? Ну что ж!  
Вперед с зажмуренною душою. Там радости,  
которых не знают сидячие души. И миг поле-  
та стоит десятка лет.

Я не замечал, что называю ее Катра.

Большие глаза улыбались нежно и радост-  
но. Пьяно-веселым вихрем все крутилось во  
мне, и я чувствовал – этому вихрю звучит в  
ответ странно насторожившаяся душа.

– Я скажу, Катра. Мы очень мало с вами го-  
ворим, мы все время на ножах. Но что это та-  
кое? Уже давно я чувствую, что вы во мне, и  
я... да, и я в вас. И мы играем в прятки.

Что еще говорилось? Не помню. Бессвяз-  
ный бред в неподвижном тумане, где низом  
шел ласкающий запах весенних почек и  
мертво стояло вдали белое зарево. Не важно,  
что говорилось, – разговор опять шел помимо  
слов. И не только я чувствовал, как в ответ  
мне звучала ее душа. Была странная власть  
над нею, – покорно и беззащитно она втягива-



лась в крутящийся вихрь.

Я, задыхаясь, сказал:

– Темно. Дайте вашу руку.

И мы шли.

– Все еще нельзя смотреть вам в лицо? А я буду.

Я взглянул в ее огромные насторожившиеся глаза. И темнота не мешала. В них мерцала радость покорной, отдающейся очарованности. Как будто я нес ее на руках, а она, прижавшись ко мне щекой, блаженно закрыла глаза.

Я близко наклонился к ней. Вдруг Катра вздрогнула и быстро выдернула руку.

– Послушайте, вы пьяны! От вас пахнет водкой!.. – Она с отвращением отшатнулась. – Какая гадость!

Я смотрел на нее. Она повторяла:

– Какая гадость!

Злоба и гадливое отвращение вдруг охватили меня. Я пристально все смотрел на нее.

– И вы раньше не знали, что я пьян? Неправда! Вы знали уж тогда, когда пошли со мною! – Я злорадно добавил: – Вы даже были этому очень рады, вы поэтому именно и по-

шли!

– Гадость, гадость какая!

Мне казалось, – всем напряжением воли Катра взмучивает в себе содрогающееся от-  
вращение. Она отбросила взглядом мой прези-  
рающий взгляд и высокомерно сказала:

– Проводите меня домой!

И повернула назад.

Мы шли и молчали.

Было глухо. Было очень тихо от тумана. Катра быстро шла, опустив голову. В чаще леса что-то коротко ухнуло, рванулось болезненно и оборвалось, задушенное туманом. Вздрыгнув, Катра пугливо оглянулась и пошла еще быстрее.

Вдруг жалующимся голосом она сказала:

– Я не могу так скоро идти!

Как будто это я ее заставлял.

Пошли медленнее. Катра робко вглядывалась в туман. Жалким, детским голосом она проговорила:

– Дайте вашу руку. Мне страшно!

Оперлась на мою руку и все с большим страхом оглядывалась.

– Тут вдоль шоссе, трактиры, тут часто ре-

жут людей... Везде безработные, грабежи... У нас ночью по всей улице сняли медные дощечки с дверей и дверные ручки... Вчера опять была экспроприация на механическом заводе...

Я злился. Катра вздрагивала, пугливо прижималась ко мне и деланным голосом повторяла:

– Мне стра-ашно!

Было неестественно. И все-таки делалось жутко. Теперь что-то из ее души заражало меня. Мертво выдвигались из тумана пригородные кусты, белесые от далекого зарева.

Вздрагивали искривленные губы, бегали глаза.

– Мне стра-ашно!

Комедиантка! Все в ней деланно и преувеличенно – и боящийся голос и вздрагивания. Она нарочно вздрагивает, чтобы крепче прижаться ко мне. Это все она мстит мне за тогдашнюю поездку на тройках.

– Что это?.. Аа... Аааа!!

С воплем Катра метнулась в сторону. Споткнулась о кучу шоссе́йного щебня и упала. Я бросился к ней. Корчась в усилиях воли, она

глушила вопль, впивалась пальцами в осыпавшиеся камни.

Вдруг голова неестественно согнулась. Подбородок впился в грудь. Тело медленно изогнулось дугою в сторону, скорченные руки дернулись и замерли. Вот так история! Она была без чувств.

Я старался приподнять ее. Тело было странно негибкое, глаза закрыты.

– Катерина Аркадьевна! Катерина Аркадьевна!

Она неподвижно лежала с закрытыми глазами и вдруг тихо всхлипнула. Сильнее, все сильнее. Грудь дышала с хриплым свистом, как туго работающие мехи. Катра раскрыла глаза, в тоске села.

– Боже мой, у меня все тело распухает!.. Нет воздуху, нечем дышать!.. Кто тут? Расстегните мне платье!

Я неумело попробовал. Крючки какие-то, кнопки... Она нетерпеливо оттолкнула мою руку, захватила ворот и дернула его, обрывая.

– Куда воздух делся?.. Боже мой! О боже мой!

На первом встречном извозчике я довез ее до дому.

Слабая, разбитая и жалкая, она сидела молча.

Пролетка остановилась у крыльца. Катра с ненавистью взглянула на меня и с колюще-холодным вызовом сказала:

– Вы думали, я чего-нибудь испугалась? Во-все нет. Ничего я не боялась.

И, не простившись, пошла к крыльцу.

Ну да! Ведь я же ждал, давно ждал этого! Я ждал – и нечего ужасаться! Уж два месяца назад я похоронил его. О господи!..

Ремонтные рабочие рано утром подобрали на рельсах за сахарным заводом его раздавленный труп. Голова нетронута, только с одной ссадиной на лбу, в редкой бородке песок и кровь. И на бледном, спавшемся лице все было это странное выражение, как будто он притворяется. Хотелось растолкать его, сказать:

– Ну, будет же, Алеша! Перестань! Ведь это слишком мучительно!

И он быстро поведет головою и, притворя-

сь, будто вправду был мертв, с деланным удивлением раскроет глаза.

Но средь лохмотьев пальто, в черно-кровавой массе легких, белели и выпячивались лопнувшие ребра, из срезанных наискось бедер сочилась ярко-алая, уже мертвая кровь, и пахло сырым мясом.

Вечером, воротившись от Маши, я сидел в темноте у окна. Тихо было на улице и душно. Над забором сада, как окаменевшие черные змеи, темнели средь дымки молодой листвы извилистые суки ветел. По небу шли черные облака странных очертаний, а над ними светились от невидимого месяца другие облака, бледные и легкие. Облака все время шевелились, ворочались, куда-то двигались, а на земле было мертво и тихо, как в глубокой могиле. И тишина особенно чувствовалась оттого, что облака наверху непрерывно двигались.

Опять все кругом было необычно, опять давно приглядевшееся выглядело новым и странным. От поля медленно шла по улице темная фигура, смутные тени скользили по земле, в теплом воздухе пахло распускаящи-

мися березовыми листочками... Вот, – этот человек идет, охваченный думами, и не спрашивает себя, – его ли это думы в его голове? И тени сосредоточенно ползут и не подозревают, что они – только безвольное отражение облаков. Скромно-горделиво стоят березы, окутанные свежим и чистым ароматом молодости. Чего гордиться?.. И только в тишине кругом чуялось сознание миром безмерное, несвержимое рабство свое.

– Константин Сергеевич, вы? – нерешительно спросил из тишины женский голос.

Я вздрогнул. Посреди улицы неподвижно стояла Катра.

– Как вы здесь? Катерина Аркадьевна!

Она медленно подошла к окну. Лицо под широкими полями шляпки казалось бледным.

– Это от поля вы сейчас шли?

– Да, я в поле гуляла... За архиерейской дачей...

Катра облокотилась о подоконник, подперла щеку рукою в светлой перчатке. Она была сосредоточенно-задумчива, глаза светились.

Я пристально смотрел на нее.

– Вам странно? – Она равнодушно помолчала. – Я хотела после тогдашнего проверить, трусиха я или нет... Ничего. Только заблудилась... Ох, не люблю трусов!.. Ямы какие-то пошли, сваленные бревна. У меня револьвер с собою. Удивительно, тишина какая. Жутко, слышно, как тишина звенит в ушах. Иду я за казачьими казармами, – в полыни кто-то слабо и глухо ворчит, кто-то пищит жалобно. Остановилась. В темноте через дорогу проползло что-то черное, пушистое, длинное, и все ворчит, и ушло в крапиву. И там долго еще ворчало и жалобно пищало. Что это?

Она нервно повела плечами.

– Хорек, должно быть. Мышь поймал.

– Если уж правду говорить, я ужасно испугалась! – Она доверчиво улыбнулась и с детской гордостью прибавила: – А все-таки овладела собою, даже шагу не ускорила...

– Вы знаете, Алешу поезд раздавил.

– Что-о?

Катра быстро подняла голову. Она молча смотрела на меня большими, спрашивающими глазами, и мои глаза ответили ее взгляду.

– Так, вот что...



Катра понурилась и стала ворошить концом зонтика осколок кирпичка. Вдруг она решительно и взволнованно сказала:

– Константин Сергеевич, откройте мне дверь, я зайду.

Я отпер калитку. Освещая сенцы спичками, ввел Катру в комнату. Она нетерпеливо смотрела, как я зажигаю лампу.

– Расскажите, как случилось... Поподробней!..

– Что рассказывать? Я ничего не знаю. Позвали к куску растерзанного мяса, спросили: "Узнаете?" – "Узнаю..." Сказал: "Он поехал с пассажирским поездом номер восемь, любил стоять на площадке, должно быть, свалился..." И сошлись с ним ложью, – в жилетном кармане у него нашли билет. Маше он еще третьего дня сказал, что едет в Пыльск.

Катра, наклонившись вперед, в ужасе слушала.

Я сел на кровать и стиснул голову руками.

– О господи, пускай, пускай! Слава богу, наконец кончилось!.. Какая мука!..

Я замолчал. Катра не шевелилась и все как будто слушала.

– Вы знали его старшего брата? – спросил я. – Он тоже убил себя, отравился цианистым калием. Проповедовал мировую душу, трагическую радость познания этой души, великую красоту человеческого существования. Но глаза его были водянисто-светлые, двигались медленно и были как будто пусты. В них была та же жизненная пустота. И он умер, – должен был умереть. Доктор Розанов говорит, на всей их семье типическая печать вырождения... Встало Неведомое и ведет людей, куда хочет!.. Страшно, страшно!

Как будто в каком-то сне, Катра глухо отозвалась:

– Страшно!

Она подошла к окну. По серебристо-светящемуся небу по-прежнему ползли черные облака, и удивительна была эта сосредоточенная жизнь на небе над глухо молчащей землей.

– Забытая небом земля, – сказала Катра.

Мы долго молчали. Катра повернулась спиной к окну. От полей шляпки падала тень на ее лицо, но мне казалось: я вижу его с широко открытыми, светящимися глазами. Как

будто она, насторожившись, жадно прислушивалась к чему-то внутри себя, чего не могла расслышать. Мне вдруг стало странно: зачем она здесь и зачем молчит?

Катра бессознательно застонала слабым, протяжным стоном – смутным и тоскливым, как стонут спящие люди. Она вздрогнула от своего стога, очнулась и презрительно повела плечами.

– Пойдемте в его комнату... Я хочу посмотреть, – коротко сказала она.

Мы вошли. Катра с острым любопытством медленно оглядывала кровать Алексея, печку с полуоткрытой заслонкою, за которою виднелись сор и бумага. На гвоздике у двери висел старый пиджак Алексея, теперь сиротливо-ненужный. Катра смотрела на дверь.

– А вокруг косяков вся штукатурка осыпалась... Так все и осталось, как вы тогда дверь выломали. Стоял синий угар...

Она говорила как в бреду. Она как будто тянулась душою в этот воздух, насыщенный смертью, – тянулась жадно, извиристо-страстно. И замолчала.

И я замолчал. За окнами была та же тиши-

на. До меня донесся странно-тихий шепот:

– Вам не кажется, что сейчас все кругом умерло?

Сердце стучало, в груди была дрожь. Я нахмурился и резко ответил:

– Не понимаю, что вы говорите.

Катра медленно подошла к окну и стала смотреть на улицу.

– Как тихо! Как тихо! И ни одного огонька нигде... Смерть разлилась на все и все охватила, и только мы одни. Это удивительно... Можно кричать, вопить, стрелять, – никто не услышит... И умереть...

Она счастливо вздохнула. У меня сердце стучало все сильнее. Я смотрел на нее. На серебристом фоне окна рисовались плечи, свет лампы играл искрами на серебряном поясе, и черная юбка облегла бедра. Со смертью и тишиною мутно мешалось молодое, стройное тело. Оно дышит жизнью, а каждую минуту может перейти в смерть. И эта осененная смертью жизнь сияла, как живая белизна тела в темном подземелье.

Мы молчали. Мы долго молчали, очень долго. И не было странно. Мы все время пере-

говаривались, только не словами, а смутными пугавшими душу ощущениями, от которых занималось дыхание. Кругом становилось все тише и пустынное. Странно было подумать, что где-нибудь есть или когда-нибудь будут еще люди. У бледного окна стоит красавица смерть. Перед нею падают все обычные человеческие понимания. Нет преград. Все разрешающая, она несет безумное, небывалое в жизни счастье.

Душный туман поднимался и пьянил голову. Что-то в отчаянии погибало, и из отчаяния взвивалась дерзкая радость. Да, пускай. Если нет спасения от темных, непонятных сил души, то выход – броситься им навстречу, свиться, слиться с ними целиком – и в этой новой, небывало полной цельности закрутиться в сумасшедшем вихре.

Прерывисто дыша, я подошел к окну. Я близко подошел к ней и тяжело, решительно сказал:

– Катра! Сейчас же уходите отсюда! Слышите?

Катра повернулась ко мне. Она беззвучно смеялась, счастливо смотрела и качала голо-

вою. В тени шляпки глаза мерцали смутными, далекими огоньками, как светляки в лесном овраге.

Я быстро охватил ее плечи и крепким поцелуем приник к щеке. Катра слабо вскрикнула и рванулась.

– Константин Сергеевич, что это вы?

Я хищно целовал ее, я ломал ей руки и отводил их от тела.

– Константин Сергеевич!.. Боже мой!.. Константа...

Была немая борьба. Гибкое, сильное тело извивалось, пуговицы и застёжки трещали. Вдруг Катра перестала биться. Она слабо застонала – тем же тоскливым стоном бредящего человека. Жестоким поцелуем я припал к нагому плечу.

Катра рванулась.

Вихрем взвилась острая, безумная радость. Никогда нигде ничего не было, было только дерзкое, непозволенное, неслыханное в человеческой жизни счастье.

– погоди, что это... Ах да!

Катра вынула из кармана револьвер. Она обняла мою шею рукою, крепко прижала к се-

бе. Другой рукой покрыла плоский, блестящий револьвер. Грозно-веселый свет безумно лился из ее глаз в мои.

– А если я сегодня же убью тебя и себя?

– Пускай!

В комнате еще чувствуется весенне-нежный запах ее духов. Воспоминание о безумной ночи мешается с мыслью о растерзанном трупе Алеши... Ну что ж! Ну и пускай!

У косяка двери с осыпавшеюся штукатуркою висит на гвозде старый пиджак Алеши. Заношенный, с отрепанными рукавами. Рыдания горькой жалости схватывают грудь.

Здесь стояла и она, прекрасная, охваченная смутным бредом смерти. Но она не вспомнила о револьвере. Ушла и даже забыла его на столике. Лежит он, тускло поблескивая, грозный и безвредный. Обманом была украдена радость, кончилась мелко и неполно.

А Алеша вчера утром стоял в кустах за сахарным заводом. Чуть брезжила зеленоватая заря. Блестящие струи рельсов убегали в сумрак. Со впавшими решительными глазами он стоял и вслушивался, как рельсы тихо ро-

котали от далекого поезда, несшего ему смерть.

Тщательно и горячо они обсуждали содержание завтрашних речей. Наташа всю ночь сженою Дяди-Белого вышивала майские флаги. Ее бескровное лицо посерело, но глаза светились еще ярче. Я решительно отказался выступать завтра, – очень расстроен смертью Алексея, в голове каша, не сумею связать двух слов. И было мне безразлично, что Перевозчиков иронически улыбался и ясно выказывал подозрение, – не попусту ли я трушу.

Со смутною завистью я прислушивался. Что-то важное для них, огромное и серьезное. А у меня в душе все сохлось, и жизнь отлетела от того, о чем они говорили. Были только истрепанные слова, возбуждавшие тошнотную скуку.

Я увидел под сознанием непроглядную темноту и увидел мои мысли – призраки, рожденные испарениями темноты. Некуда уйти от нее. И призраки меня не обманут – темные ли они, или светлые. Не обманут, а



теперь уже не испугают.

Пускай мутный сумрак души, пускай ночные ужасы и денная тоска. Зато в полумертвом сумраке – слепяще-яркие, испепеляющие душу вспышки. Перенасыщенная мука, недозволенное счастье. Исчезает время и мир. И отлетают заслоняющие призраки. Смейся над ними и весело бросайся в темноту. Только там правда, неведомая и державная.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

За обедом, за чаем, за ужином, – все время Анна Петровна непрерывно кричит на скуластую Аксютку. Это здесь необходимая приправа к еде.

– Да где она опять, эта рыжая дурища?.. Аксютка! Поди сюда! Где ты была, – в риге, на скотном, что не слышишь, как зовут?

– Я в кухне была.

– А я тебе десять тысяч раз говорила: когда мы за столом, чтобы ты тут была... Где вилки?

– Вот, на столе лежат.

– Где вилки?.. Чем у тебя голова набита, – навозом? Поди сюда, считай, – сколько нас? Теперь сообрази, – сколько вилок надо?

Федор Федорович кряхтит и пьет много квасу.

Оба они то и дело шпыняют Борю за то, что ему назначена переэкзаменовка, – малый в пятом классе, а вот пришлось взять репетитора.

Анна Петровна приправляет салат и поучающе говорит:

– Ты должен хорошо учиться. Видишь, как

хозяйство идет. Все ползет, все разваливается. Мы с отцом ничего в хозяйстве не понимаем...

Федор Федорович широко раскрывает глаза.

– Кто не понимает?.. Парлз пур ву!.. [Говорите о себе!.. (от франц. Parlez pour vous!..)] Зачем вы меня сюда припутали? Я отлично понимаю.

– "Отлично"... Почему же, у нас никакие машины не идут?

– Какие машины не идут?

– Все, какие есть. Сеялка, косилка, молотилка. Свицерский говорит, – сеялка у нас очень хорошая, только управлять не умеют.

– Глупости говорит Свицерский.

– Почему же у нас, как посеют овес просто, без сеялки...

– Почему... почему... Э... э... Почему у оленя во рту не растут лимоны?

Федор Федорович сопит и наливаются кровью, рачьи глаза смотрят злобно. Анна Петровна презрительно пожимает плечом.

– Это что значит?

– Почему этот стакан стеклянный, а не де-

ревянный? Почему сейчас дождь идет? Эти глупые вопросы, на них нельзя ответить. Почему не родилось? Урожаю не было!

– Почему же у нас урожай бывает там, где сеют без сеялки?

– Го-го!.. Уд-дивительно!

– Очень удивительно. Посеют просто, от руки, – и растет себе великолепно. А выедут с сеялкой – стучит, трещит, звенит, а толку нету!

– У-удивительно! Х-хе-хе-хе!.. Суперфлю! Суперфлю!.. [Бесполезно! Бесплезно!.. (от франц. Superflu!..)]

– И во всем так. Все дуром идет, через пень колоду.

Курсистка Наталья Федоровна, с темным, болезненным лицом, страдальчески морщится.

– Ну, мама, будет!

Но Анна Петровна безудержно сыплет:

– Вот, скотник Петр. Три недели лошадей не распутывал, лошади все ноги себе протерли. Скотину домой гонит за два часа до заката, кнутом хлещет. Стадо мчится, как с пожара, половина овец хромяя – лошади подавили.

А прогнать скотника нельзя, – "где я другого найду?"

– Ну да, – где я другого найду? Нет народа!

– Свет не клином сошелся. Можно пока по-  
денно взять.

Федор Федорович наливается темной кровью, на лбу вспухают синие жилы.

– Поденно!.. Умное слово услышал!.. Поденно!..

Он, шатаясь, поднимается и поспешно уходит в кабинет. Анна Петровна ему вслед:

– Вот, когда правду заговорят, – сейчас же бежит!

– Да будет тебе, мама! Ну что это! Противно слушать.

– Не слушай, пожалуйста!

– Ведь опять у него кровь прилила к голове.

Лнна Петровна осекается. Она сидит молча, подергивает плечами, без нужды передвигает тарелки. Потом говорит:

– Пойди, Боря, посмотри, не нужно ли чего отцу... Да вот творожники отнеси ему – ушел от третьего.

– Сказал, – не хочет.

Изо дня в день так. О чем ни заговорят, – вдруг из разговора высовываются острые крючочки, цепляются, колются. Ссоры, дразги, попреки. Мой ученик Боря – славный мальчик, наедине с ним приятно быть. Но когда они вместе, – все звучат в один раздраженно злой, осиный тон.

Весна в разгаре. Воздух поет, стрекочет, жужжит. Цветет сирень. И державно плывет над землю солнце.

Но душа на все смотрит как из глубокой черной дыры. Далеко где-то звенят ласточки. Равнодушно проходят цветы – распускаются, теряют уборы... И сирень уже закоричневела, сморщилась. А я все собирался почувствовать ее. Ну, все равно.

Я ничего не читаю и не хочу думать. Довольно играть мячиками-мыслями. Второстепенное мне теперь совсем не интересно – все эти параллаксы Сириусов и тактика кадетов. А в самом важном, что так необходимо для жизни, – тут цену исканиям мысли я знаю. Мячики, которые подсовывает Хозяин. Не хочу.

И странно мне смотреть на Наталью Федоровну. Сутулая, с желто-темным лицом. Через бегающие глаза из глубины смотрит растерянная, съежившаяся печаль, не ведающая своих истоков. И всегда под мышкой у нее огромная книга "Критика отвлеченных начал" Владимира Соловьева. Сидит у себя до двух, до трех часов ночи; согнувшись крючком, впивается в книгу. Часто лежит с мигренями. Отдышится – и опять в книгу. Сосет, сосет, и думает – что-нибудь высосет.

Живет здесь еще жена старшего их сына-чиновника, Агриппина Алексеевна. Молодая, очень полная, всегда в тугом корсете; сильно скучает в деревне. У нее мальчик Волья. Вечно он ноет и капризничает; с воскового, спавшегося личика смотрят алые глаза. Какой-то кишечный катар у него. Агриппина Алексеевна ставит ему клизмочки и готовит каши.

Кругом все разрушается. Амбары покосились, крыша риги провисла. Старенький старичок Степан Рытов ведет на поводу слепого мерина, запряженного в бочку, и шамкающим голосом повторяет:

– Тпру!.. Тпру!..

По запущенному саду ходит, еле двигая ногами, дряхлый жеребец. Вокруг глаз большие седые круги, как будто очки. На ночь его часто оставляют в саду. Он неподвижно стоит, широко расставив ноги, с бессильно-отвисшей губой. И в лунные ночи кажется, – вот призрак умирающей здесь жизни.

А иногда другой является призрак. Приходит из деревни пьяный Гаврила Мохначев. Огромный, лохматый и оборванный, он бродит по саду, шагая через кусты и грядки, бродит под балконом. Грозит кулаком на окна и зловеще трясет головой.

– У-у, дармоеды проклятые! Настроили хором... Погодите, дайте срок!..

Зато сегодня вечером увижу Катру.

Имение ее матери в пяти верстах от Сеянова, где я. Мать – сухая, энергичная дама с хищными, торгашескими глазами. Она сама управляет имениями, носится в платочке по амбарам и скотным дворам. Копит, копит для Катры и совсем не интересуется, как и чем она живет.



Катра властвует. Ее три комнаты – изящная сказка, перенесенная в старинный помещичий дом. Под окнами огромные цветники, как будто эскадроны цветов внезапно остановились в стремительном беге и вспыхнули цветными, душистыми огнями. Бельведер на крыше как башня, с винтовой лестничкой. Там мы скрыты от всего мира.

Среди ароматов и цветов – она, прекрасная, хищная. И она моя. Буйно-грешный сон любви и красоты, вечной борьбы и торжествующего покорения. Все время мы друг против друга, как насторожившиеся враги. Мне кажется, мы больше друг друга презираем и ненавидим, чем любим. Смешно представить себе, чтоб сесть с нею рядом, как с подругою, взять ее руку и легко говорить о том, что в душе. Я смотрю, – и победно-хищно горят глаза:

"Да! Ты – гордая, недоступная, всем желанная, ты моя, с твоими презрительными глазами и руками Дианы".

А она смотрит:

"Ты, с твоими звонкими словами о широком и большом, – ты увидел в этом пустоту. Я буду при тебе смеяться надо всем, ты можешь

беситься, а я знаю: встану, подниму из широких рукавов нагие руки, потянусь к тебе, – и пусть ты не говоришь, а пьянящая тайна моих объятий для тебя глубже и прекраснее скучных дел мира".

Ну да, глубже и прекраснее. Она торжествует. А я злорадно смеюсь в душе. С предательски-внимательным взглядом она подносит мне пьяный напиток, кажется, вся страсть и острая радость ее в том, что я хватаюсь за него. А мне его-то и нужно.

Кружится голова. Как темно, как жарко! Гибкая змея вьется в темноте. Яд сочится из скрытых зубов, и смотрят в душу мерцающие, зеленые глаза. Темнота рассеивается, глубоко внизу мелькает таинственный свет. Все кругом изменяется в жутком преображении. Грозное веселье загорается в ее глазах, как в первый раз, когда она ласкала рукою сталь револьвера. И вдруг мы становимся неожиданно близкими. И идет безмолвный разговор.

"Ты помнишь, – помнишь, что смерть нас венчала?"

И безумные глаза отвечают:

"Помню!"

Шевелятся волосы от близкого дыхания божественной венчательницы. Вот она. Какая великая власть у нас! Только шаг шагнуть и ух! Оборваться и полететь и забиться в безумно сладких судорогах. Светлый смех над темной жизнью. И молния. И светлый, торжествующий конец.

Это писалось всего несколько часов назад? Читаю, перечитываю, – как будто писано на незнакомом языке. Свет какой-то, пьянящая тайна объятий... Какого тут черта "тайна"?.. Брррр...

В душе смрад. Противны воспоминания. Все так плоско и убого. Как будто вышел я из спальни проститутки. "Бездна"? Грязное болото в ней, а не бездна... Ко всему она спускается сверху, из головы, с холодом ставит опыты там, где ждешь всежигающего огня. И никакой нет над нами "венчательницы". Не ужас между нами, а развратно-холодная забава.

Хозяин слепыми глазами смотрит на меня из моей глубины. И я твержу себе:

– Помни, помни, что ты теперь испытыва-

ешь!

Но со злобою я чую: захочет он, слепой мой владыка, и опять затрепещет душа страстно-горячею жаждою, и опять увижу я освещающую мир тайну в том, от чего сейчас в душе только гадливый трепет.

Идут дни, как медленные капли падают. С тупым отвращением я наблюдаю моего Хозяина. Он, этот слепой и переметчивый тупица, – он должен решать для меня загадку жизни! Какое унижение! И какая глупость ждать чего-нибудь!

Конечно, я болен. Слишком много всего пришлось пережить за этот год. Истрепались нервы, закачались настроения, душа наполнилась дрожащею серою мутью. Но этому я рад. Именно текучая изменчивость настроений и открыла мне моего Хозяина. Как беспокойный клещ, он ворочается в душе, ползает, то там вопьется, то здесь, – и его все время ощущаешь. А кругом ходят люди. Хозяева-клещи впились в них неподвижною, мертвою хваткою, а люди их не замечают; уверенно ходят – и думают, что сами они себе при-

чина.

А сегодня я посмеялся.

Лежал после обеда под кленом в конце сада, читал газету. Часа через два после обеда меня часто охватывает тупая, мутящая тоска. Причину я знаю. Не осиянное проникновение духа сквозь покров Майи, – о нет! Обычный студенческий катар желудка.

Я лежал, смотрел, как светило солнце сквозь сетку трав на валу канавы. Душа незаметно заполнялась тяжелым, душным чадом. Что-то приближалось к ней, – медленно приближалось что-то небывало ужасное. Сердце то вздрагивало резко, то замирало. И вдруг я почувствовал – смерть.

Я почувствовал – она здесь. Подползла откуда-то – унылая, тусклая, – обвилась, сунула нос в мою душу и нюхает. Она не собиралась сейчас взять меня, только приползла взглянуть на будущую добычу. И все внутри затрепетало в понятой вдруг обреченности своей на уничтожение.

Не умом я понял. Всем телом, каждую его клеточкою я в мятущемся ужасе чувствовал свою обреченность. И напрасно ум противил-

ся, упирался, смотря в сторону. Мутный ужас смял его и втянул в себя. И все вокруг втянул. Бессмысленна стала жизнь в ее красках, борьбе и исканиях. Я уничтожусь, и это неизбежно. Не через неделю, так через двадцать лет. Рассклизну, начну мешаться с землей, все во мне начнет сквозить, пусто станет меж ребрами, на дне пустого черепа мозг ляжет горсточкою черного перегноя...

Несколько раз за этот год я лицом к лицу сталкивался со смертью. Конечно, было очень страшно. Но совсем было не то, и не мог я понять, что это за ужас смерти. А теперь, в полной безопасности, на мягкой траве под кленом, – я вдруг заметался под негрозящим взглядом смерти, как загнанная в угол собачонка.

Хотелось перестать метаться, свиться душою в клубок, покорно лечь и в неподвижном ужасе чувствовать, что вот она, вот она над тобою, несвержимая владычица...

Но я вскочил на ноги.

С разбегу перепрыгнул через канаву и побежал навстречу ветру к лощине. Продираясь сквозь кусты, обрываясь и цепляясь за ветки,

я скатился по откосу к ручью, перескочил его, полез на обрыв. Осыпалась земля, обвисали ветви под хватающимися руками. Я представлял себе, – иду в атаку во главе революционных войск. Выкарабкался на ту сторону, вскочил на ноги.

Морем лился свет на широкие луга. Весело билось сердце, грудь, задыхаясь, алчно вбирала свежий воздух, насытившиеся мускулы играли.

Где, где – то, что сейчас клубком обвивалось вокруг души? Там осталось, внизу. Вон за канавой, под кленом.

А, подлый раб! Ты думал – ты мой Хозяин, и я все приму, что ты в меня вкладываешь? А я вот стою, дышу радостно и смеюсь над тобой. Стараюсь, добросовестно стараюсь – и не могу понять, – да что же такого ужасного было в том, что думалось под кленом? Я когда-нибудь умру. Вот так новость ты мне раскрыл!

– Воля, пойдика сюда! Пойди, пойдика сюда! – Агриппина Алексеевна сердито ждала, пока он не подошел. – Скажи, пожалуйста,

кто это у тети Наташи в комнате разбил синий кувшинчик из-под цветов?

Воля насупился, поджал губы и вызывающе уставился на нее.

– Ты это разбил, да?

Он, не спуская с нее взгляда, кивнул головой.

– Сколько же раз я тебе говорила: не смей никогда трогать ничего без спросу! Тетя Наташа так любит синий кувшинчик, а ты разбил. Никогда больше не ходи один в комнату тети Наташи, понял?

Воля робко взглянул исподлобья и неожиданно ответил:

– Нет.

– Не понял? Я тебе говорю: ты все трогаешь без спросу, все портишь. И не смей ходить, куда тебя не зовут. Понял теперь?

Робко, жалобно и настойчиво Воля повторил:

– Нет.

– Ну, голубчик мой, если не понимаешь, то тебя куда нельзя выпускать. Пойдем, я тебя запру наверху.

Она взяла Волю за руку. Он сморщился и



судорожно стал всхлипывать.

– А-а! Видишь? Не хочется наверх? Понял теперь, что нельзя трогать чужих вещей?

Крупные слезы прыгали по желтовато-прозрачным щекам. Воля вызывающе взглянул и жалобно дрожащим, упрямым голосом опять ответил:

– Нет.

– Ах, дрянной мальчишка!.. Ну, посиди наверху, тогда поймешь!

Она потащила его из столовой. Воля вдруг закатился голосистым ревом, как будто плач долго накоплялся в нем и теперь упоенно вырвался наружу. Анна Петровна сказала:

– Вот характерец!.. Какой упрямый мальчишка!

– Болен он.

– И в кого он такой уродился? Отец здоровый, мать вон какая! – Анна Петровна улыбнулась. – Сегодня утром Фекла мне говорит: удача нашему молодому барину – такая телистая жена попалась.

Боря лениво возразил:

– Она сказала: "тельная"!

– Ну что ты! "Тельная"! Тельною корова на-

зывается, когда ждет теленка.

– "Тельная" черев ять от "тело".

– Я сама слышала, она сказала – телистая.

– А я слышал, сказала – тельная.

– Ну не ври, пожалуйста!

Раздражаясь, вмешалась Наталья Федоровна:

– Отчего он должен врать? Ты так слышала, он так.

– Ничего он не слышал. Всегда врет.

– Никогда не вру! По себе судишь.

Федор Федорович крикнул:

– Как ты смеешь говорить так матери?!

Заварилась каша.

– Сейчас же проси у матери прощения.

– Не стану просить. Пусть она раньше меня попросит!

– Она – у тебя?!

Федор Федорович поспешно ушел в кабинет. Когда он волнуется, у него приливы крови к голове, и он страшно боится удара.

Приказ из кабинета через Аксютку:

– Пусть Борис Федорович не попадается барину на глаза.

Раньше, чем выйти к обеду или ужину, Фе-

дор Федорович вызывает теперь Аксютку справиться, в столовой ли Боря. Кормят Борю отдельно.

– Тпру!.. Тпру!..

Чалый, слепой мерин, спокойно шагает. Заложив руки за спину и держа в них повод, впереди идет дедушка Степан. Старая гимназическая фуражка на голове. Маленький, сторбленный, с мертвенно-старческим лицом, он идет как будто падает вперед, и машинально, сам не замечая, повторяет:

– Тпру!.. Тпру!..

Мерин возит воду из колодца, траву для конюшенных лошадей. И круглый день на дворе или в саду слышится отрывистое, сурово-деловитое:

– Тпру!.. Тпру!..

Тяжело и жалко смотреть на старика. Такой он маленький, дряхлый, сторбленный. Ему бы давно лежать на печи и греться на солнышке. А он убирает пять лошадей на конюшне, обслуживает двор и кухню.

На днях косил он в саду траву для конюшенных лошадей. Коса резала медленно и

уверенно, казалось, она движется сама собой, а дедка Степан бессильными руками прилип к косью и тянется следом. Лицо его было совсем как у трупа.

– Дай-ка, дедка, я покошу.

Он остановился, – скрывая тяжелую одышку, оглядел меня.

– С чего это? Ну, ну, побалуйся. Дай поточу тебе.

Я косил. Степан с добродушно-снисходительной усмешкою смотрел и учил:

– Пяткой больше налегай!.. Та-ак!.. Много концом забираешь, ты помаленечку. Она ровней пойдет...

Я докосил до канавки. Степан подошел.

– Будя, малый! Уморился.

– Нет, я на весь воз накошу.

– О-о?.. Ну, покоси еще.

Я ряд за рядом продвигался мимо. Степан стоял, расставив ноги в огромных лаптях; с узких, сгорбленных плеч руки прямо свешивались вперед, как узловатые палки. А глаза следили за мной и в глубине своей мягко смеялись чему-то.

– Ну, я, значит, за телегой побегу... А ты

еще рядочка два пройди – и ладно.

Теперь я каждый день кошу для него траву.

– Дедушка Степан, где косить сегодня?

– Ай опять охота нашла?.. Ну-ну! Низком нынче коси, за малиной. Где кленочки-то насажены-ы? Пройди рядок-другой, а там я подъеду, подсоблю тебе.

Я кошу. Он подъезжает. Каждый раз пытается взять косу и продолжать сам. Но я не даю. И он вилами начинает накладывать траву в телегу.

Слепой мерин с таинственными, мутно-синеватыми зрачками ест с рядов траву, медленно подвигаясь вперед. Степан свирепо кричит:

– Ну, ну, куда прешь?.. Тпру-у!.. Ходит кругом, полверсты бежать за ним с вилами... Стой ты, дьявол нехороший!.. Тпру!..

И все время слышатся его шамкающие, грозные окрики. Но сморщенная рука тянет за узду, не дергая. Но лошадь не вздрагивает при его приближении.

Накосили травы, навили воз. Степан стоит с тавлинкою из бересты и медленно нюхает

табачок. Украдкою он кивает мне на Слепого и вполголоса говорит:

– Эх, малый, хорош конек! Кабы еще зрячий был, цены бы ему не было.

Слепой смотрит невидящими глазами и притворяется, что не слышит. Степан подтягивает чересседельник, вздохнув, взглядывает на Слепого.

– Ну что ж? Трогай, что ли!

Руки за спину, повод в руках – и идет впереди дряхлым, падающим шагом, и опять слышится:

– Тпру!.. Тпру!..

Жалко Степана.

Он из Щепотьева, верст за пять отсюда. Хозяйство ведет его сын Алексей, большой, вялый мужик с рыжею бородою. Горе их дома, что жена Алексея родит ему все одних девок. Семь девок в семье, а желанного мальчика все нет. Нужда у них жестокая.

Степан получает жалованья три рубля и целиком отдает их сыну. Отдает и свою месячину, – два пуда муки. А сам подбирает со стола за работниками обгрызанные корочки и мочит их в воде. Работники за обедом смеют-

ся:

– Ну, дядя Степан, до смерти теперь мягкого хлеба не видать тебе!

Степан тискает беззубыми деснами размоченные корочки и тихо улыбается.

Ужасно его жалко. Хочется сделать ему что-нибудь приятное. Я подарил ему свои большие сапоги. Дедка был очень доволен, осматривал сапоги, щелкал по ним пальцами. Приглядываюсь, – Степан все в лаптях, как ни мокро на дворе.

– Что же ты, дедка, сапог не носишь?

Он хитро улыбнулся.

– Да их, малый, уж давно Алеха трепле!

Боря привез ему из города четвертку чаю и два фунта сахара. Степан сейчас же переслал их своим.

Удивительное дело – самому ему ничего не нужно. И все время мягко и радостно смеются чему-то тусклые глаза. Сторбившись дугою, он стоит у конюшни, с наслаждением поглядывает на далекие луга.

– Эх, парень, росы ноне больно хороши! На зорьке два шага по траве пройдешь – весь мокрый. На большом лугу, чай, стогов шесть

смечут.

К себе домой его совсем не тянет. Он сжил-ся с сеяновской усадьбой, с конюшней, с лошадьми, болеет душою за разрушающуюся хозяйственную жизнь. Домой же ходит только по очень большим праздникам, из вежливости. И скучает там.

Изредка придет к нему сын Алексей, принесет осьмушку табачку или лычка на лапти. В окно увидит это Анна Петровна и раскудахнется:

– Зачем ты ему, Алексей, лыка принес? И так он весь день ничего не делает. А теперь и вовсе, – знай, сиди себе на солнышке да плети лапти!

Степан равнодушно уходит с Алексеем в конюшню. Там он ворчит:

– Раскричалась!.. Небось, не на работе, а на полднях урвешь времечко лапти поковырять. Али после ужина. На твое жалованье сапоги нешто купишь? "Не делаешь ничего!"... Одних лошадей сколько в конюшне! На такую артель отдельного бы человека нужно. Всех почистить, навоз выгрести, травы накосить лошадем... Бра-ат!



Но чувствует Степан, что силы у него мало и что его скоро прогонят. Он самому себе старается доказать, что не хуже других, и надсаживается без отдыха.

Мужики при встречах смотрят угрюмыми, презирующими глазами и отворачиваются. Каждый вечер за ужином идут ярые споры, убирать ли дальние покосы. Возить оттуда – перевозка станет дороже сена; там метать стога – мужики их растащат или подожгут.

По вечерам то здесь, то там дрожат на горизонте зарева горящих усадеб. Дедушка Степан нюхает табачок и с лукавою усмешкою говорит:

– Ребята самовары ставят!

Недавно под вечер Степана нашли за конюшней на навозной куче, а рядом валялись вилы. Он лежал и не мог встать. Правая рука и нога отнялись, лицо дергалось. Он ворочал глазами и говорил непонятные слова:

– Марый! овса запусай кленочку... Овса, говорю... запусай!

Его перенесли в рабочую избу.

А через два дня слышу на дворе:

– Тпру!.. Тпру!..

И опять падающим своим шагом Степан идет перед бочкою, волоча правую ногу.

За ужином он жевал деснами размоченную в щях хлебную корку и хвастливо говорил:

– Я почему держусь? Другой в мои годы на печи лежит, а я все работаю. Почему? Потому что за меня семь душ богу молятся. Бог мне здоровья и дает. Я всегда работать буду. Здесь прогонят, в пастухи пойду, а на печь не лягу!

По винтовой лестничке спускалась мать Катры, расстроенная, раздраженная. Катра стояла у окна бельведера и сумасшедшими глазами смотрела перед собой. Она с отвращением пробормотала:

– Броситься сейчас в окно!

Вдруг вздрогнула и очнулась. Оглядела меня неузнающими глазами.

– Кто тут?.. Это вы... Ты?

– Я стучался, ты сказала – войдите.

– Я не слыхала, как сказала...

Она медленно села на кушетку и из всех

сил сдерживала порывистые вздрагивания тела. Пересиливая себя, задала нарочно банальный вопрос:

– Ну, как поживаешь?

Вдруг она испуганно вздрогнула и быстро провела руками по плечам и груди.

– Что с тобой?

– Мне кажется, по всему телу у меня ползают пауки... Щекочут. Бегают... Это ничего...

Ее взгляд двигался, ни на чем не останавливаясь. Она тяжело дышала. Подошла к окну и жадно стала вслушиваться. С заднего крыльца доносился грубоватый голос ее матери и галденье мужиков.

Катра повела плечами и снова села на кушетку.

– Э, наплевать!.. Не все мне равно!

С выжидающим, злым вызовом она поглядела на меня.

– Сейчас побранилась с мамой... Зимой мужики взяли у нас хлеба под отработку, вязать рожь. По два рубля считая за десятину. А теперь объявили, что за десятину они кладут по два с полтиной: пусть им доплатит мама, а то не вышлют баб вязать. Почувствовали свою

силу. Мама хочет уступить, находит, что выгоднее. А по-моему, это трусость. Скверная, поганая трусость!.. Как и в этом тоже: мама потихоньку продает имение и боится сказать об этом мужикам.

Я молча ходил по комнате. Катра следила за мною.

– Что же ты не возмущаешься?.. Бедные мужички, помещичья дочка-эксплуататорша...

– Вот что, Катра. Я уйду. Я не вовремя пришел.

Катра встрепенулась:

– Костя!.. Не уходи.

Она вдруг всхлипнула и прижалась к моему плечу. Жалкое что-то и беспомощное было в ней.

– Господи! Как все тяжело, как противно! Все эти мелочи, эти дрязги мещанские, – как они отравляют жизнь! И солнца давно уже нету, опять лето будет холодное, мокрое... Посмотри. Ты только взглядишь в эту тусклость...

Цветы бились под холодным ветром, текла вода с деревьев. Катра села в угол и все вздрагивала резкими, короткими вздрагиваниями.

Как будто каждый нерв в ней был насыщен электричеством и происходили непрерывные разряды. Лицо было серое, некрасивое. И серо смотрели из-за нее золотистые японские ширмы с волшебной вышитыми орлами и змеями.

– И потом – слова. Они надо мною имеют какую-то странную власть. Я скажу слово – так себе, без всякого соответственного настроения, – и слово уже овладевает мною и создаст свое настроение. И я злюсь, для меня вся жизнь в том, чтоб отстоять это наносное... Вот так и с мужиками этими. Я мельком сказала, мама стала возражать...

И вдруг глаза ее сверкнули.

– А все-таки я маме не позволю уступить им!

Скорчившись, она с ногами сидела на кушетке, охватив колени, и злыми, задирающими глазами смотрела на меня.

– Костя!.. Да что же ты все молчишь?.. Научи меня, как мне жить. Спаси меня, ведь я гибну!.. Да где тебе!.. Ты не знаешь, сам ничего не знаешь и не умеешь! Ты даже Алексея Васильевича не сумел удержать от смерти. На твоей совести лежит его смерть!..

– Ого!..

Начинало вскипать в ответ злое, враждебное нетерпение. Прижавшись подбородком к коленям, Катра ненавидящими глазами впи-лась в меня и выискивала, где бы побольнее уколоть.

– Да! Это правда! Его нужно было лечить, куда-нибудь в санаторию отправить в Швейцарию. А ты книжками его отчитывал да разных Хозяев каких-то открывал... Деньги бы всегда нашлись. Ты отлично знаешь, я с удовольствием дала бы тебе, сколько бы ты ни попросил...

Сдержанность меня покидала. Глаза загорались. И в наступавших сумерках как будто два отравленных клинка скрещивались. Или, – что там! – вернее, – как будто Федор Федорович и Анна Петровна злобно шпыняли друг друга.

– ...Только два мгновения в жизни я была счастлива, и оба эти мгновения я пережила с тобой. И вот я не могу оторвать себя от тебя. А ты так противно элементарен душою, ты мещанин до мозга костей!

– А скажи ты мне, сложная, немецкая

душа. Я давно хотел тебя спросить. Почему, – помнишь, в одно из этих двух твоих "мгновенных" – почему ты... забыла о револьвере? Это у тебя только красивая фраза была для украшения мгновения?

Катра вздрогнула и побледнела. И еще пристальнее впились в меня ненавидящие, сумасшедшие глаза.

Крики были. И плач. И эфирно-валериановые капли.

Потом – тихие, всхлипывающие речи. Горячно-быстрый шепот, поцелуи и проникающая близость. Ласки, пьяные от пронесшегося мучительства. Огромные, грозные, полубезумные глаза. И все кругом зажигалось странною, безумною красотою.

Степан, в рваном зипуне, стоял, сторбленной спиной прислонясь к стене конюшни. Он смотрел довольными глазами, как нависали с неба мутно-шевелившиеся тучи, как везде струилась и капала вода.

– Благодать господь посылает... Гляди-ка, парень, как теперь трава подымется, как овсы пойдут... Ко времени дождик пришелся!

Он медленно поднес к носу щепоть табаку и нюхал и вбирал глазами насыщенные влагою дали полей.

– Теперь бы недельки на две такой погодки – лучше не надо.

Из конюшни пахнуло влажным теплом лошадей и навоза. Степан вздохнул.

– Пойти овса засыпать лошадем...

Он вошел в сумрачную конюшню, подошел к ящичку с овсом. Лошади насторожились и радостно заволновались.

– Тпру!.. Тпру!.. Стой ты, дьявол! И-ишь! Не дождется!

С нетерпеливым, взволнованным ржанием Нежданчик повернул к Степану голову. Сверкали в сумерках прекрасные глаза. Он хватал овес из мерки, не дожидаясь, чтоб Степан высыпал в кормушку. Степан с упреком смотрел и не высыпал мерки.

– Уж утром мерку засыпал, – съел... А засыпать все не даешь. Чего жадобишься?.. Вот уж свинья!

В заднем стойле, незагороженный и непривязанный, стоял, расставив ноги, дряхлый гнедой жеребец. Мягкая губа отвисла,



глаза в очках из седины грустно думали о чем-то своем, в терпеливом ожидании забывчивой смерти.

– У-у, костяк старый! Зажился!.. Поглядывай у меня!.. В кормушку стал гадить, старый черт! Вчера весь вечер выгребал.

И всыпал ему овса. Федор Федорович запретил тратить овес на гнедого жеребца, но Степан всегда дает и ему.

Весело и мерно хрустело в сумраке от дружного жевания пяти лошадей. В пустом стойле поблескивала золотистая солома. В соломе пищали и шевелились розовые мышата, захваченные с омета вместе с соломою. Степан стоял в проходе – сгорбленный, с висящими вниз руками. Он слушал, как дружно жевали лошади, и скрытая улыбка светилась в глазах. Вместе с радостно топотавшими лошадьми он, тайно от меня, как будто тоже радостно переживал что-то.

Была старая, низкая конюшня. С темного потолка свешивались пыльные лохмотья паутины, пахло навозом. Но стоял здесь этот оборванный старик, – и все странно просветливалось. Все становилось таинственно радост-

ным – какою-то особенною, тихую и крепкою радостью. Что-то поднималось отовсюду, сливалось в одно живое и общее.

Все еще хотелось жалеть его, этого дряхлого, нищего старика. Но в душе не жалость шевелилась, а какая-то светлая ответная радость. И жалость вдруг поднялась, презрительная и насмешливая, когда мне вспомнились японские ширмы и пряные запахи никтериний и тубероз. Ходит там и тоскует мутная душа, как пластырями облепляет себя красотами жизни. Но серым пеплом осыпано все вокруг. И только судорожными вспышками мгновений освещается мертвая жизнь. И можно горами громоздить вокруг утонченнейшие красоты мира, – это будет только вареньем к чаю для человека, осужденного на казнь.

Здесь же вот – теплый запах навоза, хрустение жующих лошадей, пыльная паутина и писк мышат. А все претворяется в такую красоту, перед которой тусклы и смешны бесценные японские ширмы. Ясным, идущим изнутри светом озаряется вся жизнь сплошь, – радостная и нежданно значительная.

Степан задумчиво смотрел на черного, блестящего меринка и скорбно качал головою.

– Эх, малый! Не "Мальчиком" бы коня этого звать, а Грачиком". Говорил я барину сколько раз. Не слушает...

Я случайно открыл ее, эту лощинку.

Вчера днем шел по тропинке среди полей и справа над матово-зеленою рожью увидел темно-кудрявые дубовые кусты. Пробрался по меже. Среди светлой ржи лощина тянулась к речке темно-зеленым извилистым провалом. Чувствовалось, давно сюда не заглядывал человек.

Был полдень, стояла огромная тишина, когда земля замолкает и только в просторном небе безмолвно поет жгучий свет. И тихо сам я шел поверху мимо нависавшей ржи, по пояс в буйной, нетоптанной траве. На повороте мелькнула вдали полоса речки. Зелен был луг на том берегу, зелен был лес над ним, все было зелено и тихо. И синяя речка под синим небом была как скважина в небе сквозь зеленую землю.

Тишина жила. Я тихо выкупался в речке, и

вода мягко сдерживала всплески. Не одеваюсь, я сел на берегу. Сидел долго.

Свет горячо проникал к коже, пробираясь сквозь нее глубоко внутрь, и там, внутри, радостно смеялся чему-то, чего я не понимал. Шаловливым порывом вылетал из тишины ветерок, ласково задевал меня теплым, воздушно-прозрачным своим телом, легко обвивался и уносился прочь. Ясно в темной глубине души. Слепой Хозяин вбирал в себя щупальца и, ковыляя, уползал куда-то в угол.

Я оделся. Среди той же большой тишины медленно пошел вверх по дну лоцины, вдоль ручейка.

Маленькая бурая лягушка бултыхнулась из осоки в ручей и прижалась ко дну. Я видел ее сквозь струисто-прозрачную воду. Она лежала, прижавшись, потом завозилась, ухватила переднюю лапкою за стебель и высунула нос из воды. Я неподвижно стоял. Неподвижна была и лягушка. Выпуклыми шариками глаз над вдавленным черепом она молча и пристально смотрела, всего меня захватывая в свой взгляд. Я смотрел на нее.

Все тише становилось кругом. И мы всё

смотрели.

И вдруг из немигающих, вытаращенных глаз зверушки медленно глянула на меня вся жизнь кругом – вся таинственная жизнь притихшей в прохладе лощины. Я оглянулся.

Средь темной осоки значительно и одухотворенно чуть шевелилась кудряво-розовая дрема. И все в ней было жизнь. И всюду была жизнь в свежей тишине, пропитанной серьезным запахом дуба и ароматами трав. Как будто лощинка не заметила, как я вошел в нее, не успела притвориться безжизненной и – все равно уж – зажила на моих глазах, не скрываясь. Всем нутром я почувал вдруг эту чуждую, таинственно молчащую жизнь. Жутко становилось. И что-то радостное дрогнуло внутри и жадно потянулось навстречу. В запахе клевера и зацветающей ржи я пошел вдоль откоса. Сапоги путались в густой траве. Захотелось ближе быть к этой душистой жизни. Я разулся, засучил брюки выше колен и пошел. Мягко обнимала и обвивала ноги трепетно-живая, млеющая жизнью трава. За пригорком мелькнул золотисто-огненный хвост лисицы. Цеплялись за дубовые кусты

лесные горошки с матовыми, плоскими стеблями.

Разбегались глаза. Хотелось искать путей, чтоб добраться до вскипавшей кругом жизни. Отыскать у нее глаза и смотреть, смотреть в них и безмолвно переговариваться тем могучим и огромным, чему путь только через глаза. Но не было глаз. И слепо смотрела трепетавшая кругом жизнь, неуловимая и вездесущая.

Я прилег под колебавшуюся рожь. Меж рыхлых сухих калмыжек шевелился цветущий кустик; продолговатые, густо посаженные цветочки, как будто тонко вырезанные из розового коралла, в матово-зеленой дымке кружевных листьев.

Ну!.. Ну!.. И радостно, призывно что-то смеялось в душе.

Но слепо качались кружевные листья, налитые зеленым светом, и жадно пили солнце, и не чувствовали моего взгляда. Но было в них что-то единое со всем, что кругом.

С тем же радостно-недоумевающим смехом в душе я воротился домой. Шел мимо террасы. Там пили чай. Сидел в гостях земский

начальник. И медленно ворочались сухие, как пустышки, слова для разговора. Федор Федорович пил холодный квас, кряхтел и говорил:

– Даже на мертвые существа жара действует... Возьмите дерево, цветок, траву – и те вянут от жары.

И еще несколько раз издали я слышал: "мертвые существа".

Мертвые существа!.. Мелькнула над террасой ласточка, с радостно звенящим смехом вильнула в воздухе и понеслась прочь от жирно потевших на террасе живых существ.

В кухне ставили хлеба. И с ранней зари на весь дом звучал пронзительный, ругающийся голос Анны Петровны.

Невозможно было спать. Потом стали подавать чай. Хлынули крики на горничную:

– Аксютка, да где же ложки? Зачем я тебе их отдала, – для потехи? Для удовольствия? Поиграть ими? Я тебе их вымыть дала!.. Куда ты идешь?

– Я через кухню иду.

– И тут широкая дорога... Аксютка!.. Улья-

на, скажи ты этой рыжей дряни, чтоб сейчас же шла сюда!

Угрюмый, невыспавшийся, я сидел на постели. Жарко было в комнате и душно. Из залы, из кухни, из коридора непрерывно несся захлебывающийся криками голос Анны Петровны. В тон ему истерично заливались-кудахтали куры в курятнике.

Что это вчера со мною было? Вспоминалась идиотская радость в лощине... С чего она? Жизнь какая-то в лягушке и в траве! Ну да – жизнь. А раньше не знал я, что в них жизнь и свои физиологические процессы? Что же меня привело в восторг?

Под одичавшими кустами смородины бродили средь лопухов куры. Шевелились налитые солнечным светом листья бузины. Вот и здесь везде жизнь. Что же дальше?..

Я чуждо смотрел в окно.

– Ты не кричи так, не кричи, как пьяная баба! Тебе колом в голову не вдолбишь, все на своем будешь стоять! Я тебе десять тысяч раз говорила, чтоб ты в кухню не брала серебряных ложек... Ах, "я-а", "я-а"... Поменьше бы языком молола. Корова рыжая!



Хотелось бешено выскочить и стукнуть старуху по шее. И все как скверно, как противно!.. И этот нелепый роман с Катрой. Непрерывный от него чад в душе. Неужели не хватит воли разорвать с нею? Два болота, разделенные высокой горою, соединились на вершине гнилыми испарениями... Гадость, гадость!

Мутно вздрагивало в душе угрюмое, брезгливое отвращение и выскивало, к чему бы прицепиться. Я сидел и вслушивался в себя.

Вот он, в темной глубине, – лежит, распластавшись, слепой Хозяин. Серый, плоский, как клещ, только огромный и мягкий. Он лежит на спине, тянется вверх цепкими щупальцами и смотрит тупыми, незрячими глазами, как двумя большими мокрицами. И пусть из чащи сада несет росистою свежестью, пусть в небе звенят ласточки. Он лежит и погаными своими щупальцами скользит по мне, охватывает, присасывается.

Погоди ты, подлый раб!

Сверкал солнцем тихий пруд. Сверкали листья мать-мачехи. В траве пряталась прохлада утра. Бух! Брызги. Вода с стремительною

ласкою охватывает тело, занимается дыхание.

Медленно плыву на спине, чуть двигая руками. Холодные струйки пробегают по коже, радостно вздрагивает тело. Синее-синее небо, в него уносятся верхушки берез, все улыбается. Тает и рассеивается в душе мутная темнота.

Я вытирался на берегу. Солнце ласково грело кожу, мускулы напрягались. Глубоко в теле вздрагивал смех.

– Ну, Хозяин, что? Непрерывно и упорно я тебе буду доказывать на деле, что ты подлый раб. Ты хозяин мой, – знаю. Но вот я тебя заставил, и ты уже радостно трепещешь жизнью и светом. И это я тебя заставил. Потому что ты мой хозяин, но я свободен, а ты раб.

Стрекотали о чем-то дрозды в березах, качалась осока на верховьях пруда. Как на проявляемой фотографической пластинке, из всего кругом медленно опять выявлялась жизнь, которую я вчера почувствовал. И опять ей навстречу радостно забилося сердце. И ощутилась важность того, что открывалось.

Тихо звеня, пролетел зеленоватый комар, с

пушистыми сяжками. Вчерашний радостно недоумевающий смех охватил душу. И звучало комару из глубины:

– И ты живешь?.. Э, брат, как нас много!

Когда я возвратился домой, завтракали. Воля сидел за манной кашей, около стояла няня Матрена Михайловна.

– Хо-хо-хо!

Воля держал в руке ложку с кашей, поглядывал кругом и бессмысленно-радостно смеялся.

– Воля, чего это ты?

– Хохо!.. Хо-хо-хо!..

Глазенки блестели. И он все смеялся беспричинным, идущим из нутра, заражающим смехом. И все засмеялись, глядя на него.

– Ну, смотрите, дурень какой. Чего смеется?

Сила жизни безудержно вскипала в нем, радуясь на себя и играя.

Где, где эти робко-злые, упрямые глаза, этот ноющий голос? Животик поправился у мальчика. Клизмочки помогли и манные кашки. И вот переметнулся его маленький Хозяин. Бессмысленной радостью заливается

тельце, ясным светом зажег глазенки, неузнаваемо перестроил всю душу...

О раб! О подлый, переметчивый раб!

Гнедой жеребец издох. Вечером Степан пошел за ним в сад, а он лежит на боку мертвый.

За ужином работники смеялись и говорили:

– Ну, дедушка Степан, теперь твой черед помирать. Самый ты теперь старый остался.

– А неужто в холщовой рубахе и в гроб ляжешь? Ты бы на это дело ситцевую завел.

Степан тихо, про себя, улыбнулся.

– У меня есть. Сшита. Синяя с крапушками, молодая барыня подарила. Как помру, наказал Алехе в нее одеть.

– А небось ждешь смерти? Ишь старый какой! Болезнь какая, али убьешься, – молодой переможется, а тебе где уж! Сразу свернет.

– Ты, дедушка Степан, вели табачку себе побольше в гроб положить. Да тавлинок. Сломается ай потеряешь – новой там не купишь. Весь табак растрясешь.

Степан открыл тавлинку, с хитрою улыбкою заглянул в нее, встряхнул.

– Там даду-ут...

– Деньжат с собой захвати, – может, даром-то не дадут... Хо-хо-хо!..

Слава богу, наконец-то! Так, иначе, – но это должно было случиться. И по той радости освобождения, которая вдруг охватила душу, я чувствую, – возврата быть не может. Произошло это вчера, в воскресенье. Мы с Катрою собрались кататься.

Вышли на крыльцо, а шарабана еще не подали. На ступеньке, повязанная ситцевым платочком, сидела мать Катры, Любовь Александровна, а кругом стояли и сидели мужики, бабы. Многие были подвыпивши. Деловые разговоры кончились, и шла просто беседа, добродушная и задушевная.

Бородатый мужик, скрывая усмешку под нависшими усами, спрашивал:

– Ты, барыня, вот что нам объясни. Как это так? Вон ты какая – маленькая, сухонькая, вроде как куличок на болоте. А у тебя две тысячи десятин. А нас эва сколько, – а земли по полсажени, всю на одном возу можно увезть.

– Отчего? Я тебе прямо скажу, – сила моя.

– Сила? Правильно. Ну, а как сговоримся мы, как пойдём всем российским миром, то сила наша будет. Где ж вам против нас!

Другой мужик прибавил:

– Как наседок, с гнезд сымем.

– А правду, скажи, болтают, – продаешь ты землю?

Любовь Александровна посмеивалась.

– Слыхал, как говорится? Не всякому слуху верь. А дело это мое: захочу – продам, не захочу – не продам.

– Нет, барыня, ты жди, не продавай, – решительно сказал бородатый мужик.

– У тебя тогда спроситься?

– Не позволим тебе. Нам она определёна.

– Вот как!

– Да... Сколько лет на тебя работали, всю ее потом нашим полили.

– Как же это вы мне не позволите?

– Окончательный тогда сделаем тебе конец.

Любовь Александровна засмеялась.

– Убьете? Ну, брат, за это тоже по голове тебя не поглядят.

– Знаю. Что ж, на каторгу пойду. А сколько

за меня народу положит поклон.

Баба в задних рядах подперла щеку рукою и глубоко вздохнула:

– Да какой еще поклон положишь!

– Э, батюшка! Такие поклоны там не принимаются!.. Они в зачет не идут.

– Ваш бог не зачтет, а наш зачтет.

Катра, потемнев, пристально смотрела на мужика. Она резко спросила:

– Как тебя звать?

– Ай, барышня, не знаешь? – Мужик посмеивался. – Арсентием звать меня, Арсентий Поддугин, потомственный почетный земледелец. Запиши в книжку.

В толпе засмеялись. Любовь Александровна поспешно сказала:

– Погоди, хорошо. Говоришь, пойдете вы на нас всем российским миром. Ну, поделили вы землю нашу. Сколько на душу придется?

– Расчеты нам, барыня, известны. По четыре десятины.

– Нет, погоди! А из города, ты думаешь, на даровую-то землю не налетят? Себе не потребуют? Давать так уж всем давать, почему вам одним?.. А что тогда по России пойдет?

– Э, что ни пойдет! А вас снять нужно первым делом. Тогда дело увидится.

Мы ехали с Катрой. Противна она мне была. А она смотрела на меня со злым вызовом.

– Эти самые мужики пожгли у нас зимою все стога в Антоновской даче. А мама перед ними пляшет, увивается... У-у, интеллигенты мягкие!.. Вот мне рассказывали: в Екатеринославской губернии молодые помещики образовали летучие дружины. Сторело что у помещика, – сейчас же загорается и эта деревня.

– Ого!

– Да. Это честно, смело и красиво... Пожимай плечами, иронизируй... "Обездоленные", "страдающие"... Эти самые ушаковцы, которые сейчас с мамой говорили, – вся земля, по их мнению, обязательно должна перейти к ним одним. Как же, ведь ихняя барыня! А соседним деревням они уж от себя собираются перепродавать. Из-за журавля в небе теперь уже у них идут бои с опасовскими и архангельскими. Жадные, наглые кулаки, больше ничего. Разгорелись глаза.

Мы проехали большое торговое село. Девки водили хороводы. У казенки сидели на



травке пьяные мужики.

Свернули в боковой переулок. Навстречу шли три парня и пьяными голосами нестройно пели:

Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног...

Заметив нас, они замолчали. Насмешливо глядя, сняли шапки и поклонились. Я ответил. Мы медленно проехали.

– Ишь, с пищи барской, – гладкие какие да румяные! Знай гуляй и в будни и в праздник!

– Сейчас вот в лесок заедут, завалятся под кустик... Эй, барин, хороша у твоей девочки...?

Долетел грязный, похабный вопрос, и все трое нарочно громко засмеялись.

Мы медленно продолжали ехать. Катра – бледная, с горящими глазами – в упор смотрела на меня.

– И ты за меня не заступишься?

– Стрелять в них прикажешь?

– Да! Стрелять!

Я растерянно усмехнулся и пожал плечами. Сзади доносилось:

Голодай, чтобы они пировали...

– Ну, хорошо!.. – Она с ненавистью и грозным ожиданием все смотрела на меня. – А если бы они остановили нас, стащили меня с шарабана, стали насиловать? Тогда что бы ты делал?

– Не знаю я... Катра, довольно об этом.

– Тоже нашел бы вполне естественным? Ну конечно! Законная ненависть к барам, дикость, в которой мы же виноваты... У-у, доктринер! Обкусок поганый!.. Я не хочу с тобой ехать, слезай!

– Тпру!

Я остановил лошадь, передал вожжи Катре и сошел с шарабана.

– До свидания, – сказал я.

– Не до свидания, а прощайте!

Она хлестнула лошадь вожжой и быстро покатила.

Покос кипит. На большом лугу косят щепотьевские мужики, из Песочных Вершинок возят сено наши, сеяновские. За садом сегодня сметали четыре стога.

Подъезжали скрипящие возы. Федор Федорович сидел в тенечке на складном стуле и

записывал имена подъезжавших мужиков. Около стоял десятский Капитон – высокий, с выступающими под рубахой лопатками. Плутовато смеясь глазами, он говорил Федору Федоровичу тоном, каким говорят с малыми ребятами:

– Пишите в книжку себе: Иван Колесов, в третий раз.

– погоди, любезный! А где же во второй было?

– Второй воз он уж, значит, склал, у вас прописано... Лизар Пененков. Алексей Косаев...

Федор Федорович подозрительно оглядывал возы, но ничего не видел близорукими глазами. Постепенно он все больше входил во вкус записывания, все реже глядел кругом и только старательно писал, что ему выкрикивал в ухо Капитон. Ждавший очереди Гаврила Мохначев с угрюмым любопытством смотрел через плечо Федора Федоровича на его письменные упражнения.

– Пишите теперь в книжку, – Петр Караваев, в четвертый раз.

– Где же он? Петр Караваев!

– А он, значит, сейчас подъедет... Вон он, воз, под яром!

Федор Федорович строго сказал:

– Так, брат, нельзя. Когда приедет, тогда нужно записывать.

Капитон смеялся глазами.

– Так, так!.. Понимаю-с!.. Когда, значит, приедет, вы в книжку и запишете его.

Кипела работа. Охапки сена обвисали на длинных вилах, дрожа, плыли вверх и, вдруг растрепавшись, летели на стог. Пахло сеном, человеческим и конским потом. От крепко сокращавшихся мускулов бодрящею силою насыщался воздух, и весело было. И раздражительное пренебрежение будил сидевший с тетрадкой Федор Федорович – бездеятельный, с жирною, сутулою спиною.

Авторитетным тоном, щеголяя знанием нужных слов, он делал замечания:

– Послушай, Тимофей! Вы рано стог начали заklubничивать.

– Рано! И то еле вилами достанешь!

– Есть вилы длинные.

– И то не короткими подаем... Эй, дядя Степан, принимай!

Солнце садилось. Нежно и сухо все золотилось кругом. Не было хмурых лиц. Светлая, пьяная радость шла от красивой работы. И пьянела голова от запаха сена. Оно завоевало все, – сено на укатанной дороге, сено на ветвях берез, сено в волосах мужчин и на платках баб. Федор Федорович смотрел близоручными глазами и улыбался.

– Сенная вакханалия... Ххе-хе!

Довершили последний стог. Мужики связывали веревки, курили. Дедка Степан очесывал граблями серо-зеленый стог. Старик был бледнее обычного и больше горбился. Глаза скорбно преодолевали усталость, но все-таки, щурясь, радостно светились, глядя, как закат нежно-золотым сиянием возвещал прочное ведро.

Село солнце.

На Большом лугу в таборе щепотьевцев задымились костры. Мы шли с Борей по скошенным рядам. Серые мотыльки мелькающими облаками вздымались перед нами и сзади опять садились на ряды. Жужжали в воздухе рыжие июньские жуки. Легавый Аякс очумело-радостно носился по лугу.

По дороге среди желтеющей ржи яркими красками запестрела толпа девок с граблями. Неслась песня.

Они приближались в пьяно-веселом урагане песен и пляски. Часто и дробно звучал припев:

В саду мято, рожь не жата.

Некошёная трава!..

Высокая девка, подпоясанная жгутом из сена, плясала впереди идущей толпы. Склонив голову, со строгим, прекрасным профилем, она вздрагивала плечами, кружилась, при-топтывала. И странно-красивое несоответствие было между ее не улыбавшимся лицом и разудалыми движениями.

Выдвинулась из ало колыхавшейся толпы другая девка, приземистая и скуластая. Широко улыбаясь, она заплясала рядом с высокою девкою. Они плясали, подталкивали друг друга плечами и кольцом сгибали руки.

В саду мято, рожь не жата.

Некошёная трава!..

– Эй, барчуки! Идите к нам!.. Зацелуем!

Румяные женские лица маняще улыбались. Неслись шутливо-бесстыдные призывы.

И не было от них противно, хотелось улыбаться в ответ светло и пьяно.

Они прошли мимо. Следом проплыл запах кумача и горячего человеческого тела.

Аякс издалека залаял на толпу. Высокая девка с гиком побежала ему навстречу. Аякс удивленно замолк и с испуганным лаем бросился прочь. Она за ним, по буйным рядам скошенной травы. Аякс убежал и лаял. В толпе девок хохотали.

Вдруг высокая девка бросилась головою в сено и перекувыркнулась. Ноги высоко дрыгнули в воздухе над рядами. Аякс удивленно сел и поднял уши.

– Хо-хо-хо! – загрохотали в таборе мужские голоса.

Боря покраснел и отвернулся.

Темнело. Перепела перекликались в теплой ржи. Громче неслись из росистых лоцин дергающие звуки коростелей. В герой, душистой тьме с барского двора шли мужики, выпившие водки.

После ужина я сидел на ступеньках крыльца. Была глубокая ночь. Все спали. Но я не мог. Чистые, светлые струи звенели в душе,

свивались и пели, радостно пели все об одном и том же.

Поднялся поздний месяц.

У конюшни чернела телега, фыркала жевавшая лошадь. Щепотьевцы кончили отработку и уехали; Алексей Рытов заехал на двор проститься с отцом, и они заговорились. Большой, плечистый Алексей сидел, понурившись, на чеке телеги и курил. Степан радостно и любовно смотрел на него.

– Эх, Алеха, пора тебе, малый! Поезжай. Ребята вон уж когда уехали. Завтра-то на зорьке вставать тебе, а ночи ноне короткие.

И опять они медленно говорили. Степан трогал руками телегу, гладил лошадь.

– Хорош меринок!.. Его бы, малый, овсецом кормить, – еще бы стал глаже.

– Да... Гнедчик был, – не прохлестнешь! А этот идет все равно что играет... – Алексей устало зевнул и, зевая, кивнул на конюшню. – В конюшне спишь?

– А то где же?

– Вот тут бы тебе спать, на вольном воздухе. Жарко, чай, в конюшне.

– Ну... В конюшне надо спать. Ночью, быва-



ет, заболтают лошади. Крикнешь – стихнут.

Месяц светил из-за лип. За углом дома, в саду, одиноко и тоскующе завыл Аякс.

– А со своим покосом все еще не убрались?

– Нет, не косил еще. Завтра на уборку к нашему барину выезжать.

Степан вздохнул.

– Вот, парень, горе твое, – все девки у тебя. Мальчонка был бы, – вон еще какой, а по нынешнему времени и за такого тридцать рублей дают. А от девок какой прок?.. Тоже про себя скажу, – помру я скоро, Алеха. Ослаб! Намедни вон какое кружение сделалось, – два дня без языка лежал. А нынче на стогу стоял, вдруг опять в голове пошло, как колеса какие... Не продержусь долго. А еще бы годочка два протянуть, – тебе за моей спиной вот бы как было хорошо!

Алексей молчал.

Дул легкий ветерок. Широким, прочным теплом несло с полей. Степан стоял, свесив руки, и смотрел в теплый сумрак.

– Погодка-то, малый! Погодка! Весь покос теперь простоит. Гляди и рожь захватит.

И как будто что-то неслышно говорил ему

этот мягкий сумрак, пропитанный призрачным, все слившим лунным светом. И как будто он радостно прислушивался к этой тайной речи. Подумал, медленно поднес к носу щепоть табаку.

– А что, малый... Ничего там не будет, как помрешь. Вот как жеребец гнедой сдох, – тоже и мы.

Сливалась со светящимся сумраком сторбленная фигурка с дрожащей головою. Кто это? Человек? Или что-то другое, не такое отделенное от всего кругом? Казалось, – вот только пошевелинься, моргни, – и расплывется в лунном свете этот маленький старик; и уж будет он не отдельно, а везде кругом в воздухе, и благодатною росой тихо опустится на серую от месяца траву.

Уехал Алексей. Степан постоял, поглядел ему вслед и ушел в конюшню.

Аякс за углом все выл. Переставал на минуту, прислушивался, начинал лаять и кончал жалующимся воем.

В доме звякнуло окно, раскрылось. Высунулась всклокоченная голова Федора Федоровича. Хрипло и сердито он крикнул:

– Пошел ты!.. Аякс!

Вой замолк.

– А-аякс!

Было тихо. Окно медленно закрылось.

Аякс в саду вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим во-ем.

За темными окнами засветился огонек. В халате, со свечкою в руках, Федор Федорович вошел в залу. Он раскрыл окно и злобно крикнул в росистую темноту сада:

– Аякс! Пошел!.. Вот я тебя!

Аякс на минуту смолк и завыл снова.

Тускло горела свечка на обеденном столе. Федор Федорович, взлохмаченный и сторбленный, медленно ходил по темной зале, останавливался у запертых окон, опять ходил.

Из того светлого, что было во мне, в том светлом, что было кругом, темным жителем чужого мира казался этот человек. Он все ходил, потом сел к столу. Закутался в халат, сторбился и тоскливо замер под звучащими из мрака напоминаниями о смерти. Видел я

его взъерошенного, оторванного от жизни Хозяина, видел, как в одиноком ужасе ворочается он на дне души и ничего, ничего не чувствует вокруг.

Пьянеет голова. Пронизывается все существо крепкою, радостною силою. Все вокруг скрытно светится.

А на берегу речки, в моей лощинке, – там творится и тонко мною воспринимается огромное таинство жизни. Колдовскими чарами полна лощина. Там я ощущаю все каким-то особенным чувством, – о нем не пишут в психологиях, мыслю каким-то особенным способом, – его нет в логиках. И мне не нужны теперь звериные глаза, я не томлюсь тем, что полуоткрывается в них, загадочно маня и скрываясь. Не через глаза я теперь говорю со всем, что кругом. Как будто тело само перестраивается и вырабатывает способность к неведомому людям разговору, без слов и без мыслей, – таинственному, но внятному.

Садилось солнце. Неподвижно стояла на юге синеватая муть, слабо мигали далекие отсветы. Трава в лощине начинала роситься.

Мягким теплом томил воздух, и раздражала одежда на теле. Буйными, кипучими ключами была кругом жизнь. Носились птички, жужжали мошки. Травы выставляли свои цветы и запахами, красками звали насекомых. Чувалась чистая, бессознательная душа деревьев и кустов.

Я разделся и с одеждой на руке пошел. Тепло-влажная трава ласкалась ко мне, пахуче обнимала тело, – такое противно-нежное, всему чуждое, забывшее и свет и воздух. Обнимала, звала куда-то. Настойчиво говорила что-то, чего недостойно вместить человеческое слово, чего не понять мозгу, сдавленному костяными покрывками.

На юге росли черно-синие тучи. С трепетом перебегали красноватые взблески. Я выкупался и остался сидеть на берегу.

Все кругом жило сосредоточенно и быстро. Стрекоза торопливыми кругами носилась над гладью речки и хватала мошек. Мошки весело реяли над рекою, ползали, щекоча кожу, по моим голым ногам. И они не думали, что я сейчас могу прихлопнуть их рукою, что сейчас их схватит стрекоза.

Ух, как все жило кругом! Любило, боролось, отдыхало, помогало друг другу, губило друг друга, – и жило, жило, жило!

И захотелось мне вскочить, изумленно засмеяться своему калечеству и, выставляя его на позор, крикнуть человечески-нелепый вопрос:

– Зачем жить?..

Гордым франтом, грудью вперед, летел над осокою комар с тремя длинными ниточками от брюшка. Это, кажется, поденка... Эфемерида! Она живет всего один день и нынче с закатом солнца умрет. Жалкий комар. Всех он ничтожнее и слабее, смерть на носу. А он, танцуя, плывет в воздухе, – такой гордый жизнью, как будто перед ним преклонился мир и вечность.

Розово-желтый закат помутнел. Я шел домой по тропинке среди гибко-живых стен цветущей ржи. Под босыми ногами утоптанная тропинка была гладкая и влажно-теплая, как разомлевшееся от сна человеческое тело.

Не хотелось уходить, я все останавливался. Из ржи тянуло широким теплом, в чаще зеленовато-бледных стеблей непрерывно звучал

тонкий звон мошканы. Через голые ноги от теплой земли шла какая-то чистая ласка, и все было близко, близко...

Где был я? Где было что кругом? Повсюду широкими волнами необозримо колебалась огромная, бессознательная жизнь. И из темной глубины моей, где хаос и слепой Хозяин, – я чувствовал, как оттуда во все стороны жадно тянулись щупальца и пили, пили из напирившей кругом жизни ее торжествующую, несознанную правду.

И как вся жизнь вокруг томилась этою несознанностью! Она тянулась и проникала ко мне, через меня хотела осознать тебя, ползала по раскинутым щупальцам. И чувствовалось, тесны были пути и прерывисты, как завядшие, подгнившие корни. Только малые капли доходили до меня.

Но пусть! И этих капель было довольно.

Хотелось упасть коленями на гладко-теплую землю, и воздеть руки, и в восторге молиться... Кому? Как будто солнечно-горячий и яркий свет хлынул в душу, прорвал окутывавший ее туман... Жизнь! Жизнь!

Сила великая. Сила всесвятая и благая. Все,

что пропитывалось ею, освещалось изнутри и возвеличивалось, все начинало трепетать какими-то быстрыми внутренними биениями. Темнел вдали огромный дуб, серел на тропинке пыльный подорожник, высоко в небе летела цапля, вяло выползал из земли дождевой червь. Все и всех жизнь принимала в себя, властительница светлая. Сколько я думал, сколько искал – и ничего не мог понять ни своими мыслями, ни мыслями других людей. А здесь теперь было все так ясно и просто, так неожиданно-понятно. И если бы Алеша понял хоть на миг...

Понял... Что-то больно кольнуло в душу. Этого понять нельзя. Может понять только просветлевший Хозяин, а он предатель и раб, ему нельзя доверять. И по-обычному я враждебно насторожился. Я искал, – где он, вечный клещ души? Но не было его. Он исчез, слился со мною, слился со всем вокруг. Не было разъединения, не было рабства, – была одна только безмерная радость. Радость понимания, радость освобождения.

Я вышел на дорогу к усадьбе. Там, где была на небе муть, теперь шевелились и быстро



росли лохматые тучи. Непрерывно трепетали красноватые взблески, сдержанно рокотал гром.

На краю дороги шевелился под налетевшим ветерком куст полыни. Был он весь покрыт седою пылью, среди желтоватых цветков ползали остренькие черные козявки. Со смехом в душе я остановился, долго смотрел на куст.

– Ты! Сбрось свою бессознательную мудрость. Думай! Ответь, – для чего ты живешь? Осыпает тебя придорожная пыль, ползают по тебе козявки. Сосешь ты соки из земли, лелеешь свою жизнь, – для чего? Подумай, – для чего?

И сразу обмякла душа куста, как будто смрадом его обвеяло. Стал он жалок и ничтожен. Задумался скорбно, наконец ответил:

– Да, такая жизнь бессмысленна... А вот что, – нужно жить для всех этих других полынных кустов. Прикрывать их от пыли, переманивать на себя вредных козявок...

– Ну, а им что от того, что меньше их будет осыпать пыль и меньше будут точить козявки?

Все шире растекался смрад. Серый, вялый сумрак вставал из земли. Все вокруг – все делалось ничтожным и презренным. Ласточки остановили свой лет в воздухе, растерянно и недоумело трепыхали крылышками.

– Для чего наша жизнь? Ну, будем ловить мошек, выведем птенцов. Осенью лететь за море, потом возвращаться. Опять лепить гнездо, опять выводить птенцов, и так каждый год. А потом – смерть.

И повсюду кругом зашелестело, заныло, зашипело, застонало. Дождевые черви беспокойно выползали из своих ходов, никла колосьями рожь, очумело метались мошки.

– Зачем жизнь?

Нетерпеливо вдруг сверкнул воздух, и гневный негодующий грохот покатился по небу. Бешено рванул ветер. Черное и грозное быстро мчалось поверху.

Хотелось смеяться, хотелось протягивать руки.

– Не гневись, великая! Я только шутил, – шутил пошлою человеческою шуткою... Жизнь! Жизнь! Не оскорблю я тебя, не вложу в тебя вопросов подгнивающей собственной

души. Я далек от тебя, трудно различаю тебя  
сквозь мутный туман, но я теперь знаю! Я  
знаю!

Перекатывался гром. Выл сухой ветер, за-  
хватывал дыхание, трепал одежду. И вся  
жизнь вокруг завилась вольным, радост-  
но-пьяным ураганом.

# 1908

## ПРИМЕЧАНИЯ

**В**первые – журн. "Современный мир", 1909, т. 1, кн. 1, с. 1–3. Написано в 1908 году.

Повесть "К жизни" в большей или меньшей степени не принята как круги революционные, так и откровенно реакционная пресса. Положительные оценки были редки. Правда, критикой отмечалось, что новая повесть дает материал для изучения настроений эпохи. "Вересаев очень чутко улавливает разного рода общественные настроения, различные в творящейся вокруг нас жизни. Уловил он и эту апатию, и эту скуку, и это омертвление еще недавно столь живого организма... Вересаев как бы видит, что эта усталость, эта общественная апатия – только внешняя кора. Что под нею, в одних местах глубоко, но все же притихли живые ключи... которые еще недавно так бурлили на глазах у всех", – замечал В.Боцяновский в "Литературных листках" ("Новая Русь", 1909, 26 марта).

Вместе с тем рецензенты самых разных направлений писали, что по своей идейной направленности и художественным особенностям "К жизни" уступает повестям "Без дороги" и "Поветрию", но мотивы неприятия нового произведения В.Вересаева были различны у представителей борющихся лагерей русской общественной мысли.

Элементы мистики, биологизма, культ внесоциально толкуемой "живой жизни", естественно, вызывали возражения у тех, кто продолжал видеть в пролетарском движении залог успеха борьбы за новое общество. Н.Назов в статье о сборниках "Знания" сожалел, что изображение революционных настроений рабочих оттеснено в повести "К жизни" на задний план "размышлениями на тему, что думает добрый интеллигент в этапе, когда ему не спится..." ("Голос Приуралья", 1910, 11 августа).

В условиях торжества реакции пресса в основном предоставляла слово рецензентам черносотенных и охранительных убеждений. Идеи гуманизма, очевидное желание автора противостоять упадническим настроениям,

господствующим в литературе, вызывали раздражение в либерально-реакционных кругах. "Современное слово" (1910 1/14 января), "Весы" (1909, Л 5) и др. называли повесть "длиннейшей и скучнейшей", а самого автора – "идейно-жизнерадостным товарищем из первокурсных медиков", "совершенно безнадежным", "конченным писателем". С другой стороны, критиков правого лагеря радовал определенный отход писателя от социальных тем к постижению "темных влечений души" ("Русские ведомости", 1909, 9 апреля). Они склонны были рассматривать повесть "протоколита" марксизма В.Вересаева как симптом резкого изменения умонастроений в среде молодых революционеров и как свидетельство того, что революция зашла в тупик ("Новое время", 1909, 10/23 апреля).

Это были, конечно, передержки, попытки использовать "живую жизнь" В.Вересаева в борьбе с революционными настроениями.

Пожалуй, наиболее объективная оценка повести "К жизни" давалась в статье Вл.Кранихфельда ("Современный мир", 1909, Л 5). Критик рассматривал повесть как "правди-

вую и вдумчиво написанную летопись интеллигентских настроений" тех дней. Вл.Кранихфельд убедительно вскрывал индивидуалистическую сущность таких мнимых революционеров, как герой повести Чердынцев. "Когда революционные волны пошли на убыль", Чердынцев "не поставил себе вопросов: почему не удалась эта работа, почему результаты ее не оправдали его ожиданий и надежд?.. Вопрос: зачем жить? – вытеснил все остальные и завладел всем его существом", "возрождение Чердынцева произошло в плоскости чисто индивидуальных переживаний", и поэтому вересаевский лозунг "живой жизни" не может увлечь массы. Объективно повесть рисовала характерный для тех лет процесс "разобщения личности со средой". Это определяет ее большое познавательное значение.

На склоне лет писатель весьма отрицательно оценивал свою повесть, считая, что она "самая плохая из всех" его вещей, "неуклюжая, надуманная, неубедительная" ("Записи для себя"). С этой излишне резкой оценкой трудно согласиться, да и сам В.Вересаев включал "К жизни" во все свои собрания сочине-

ний. Однако ряд его конкретных замечаний о повести представляет несомненный интерес: "Не могу... принять упрека за то, что повесть написана взъерошенным, претенциозным языком, что я в ней поддался тогдашней "модe". Решительно все другое мое, относящееся к тому времени, написано обычным моим языком. Здесь же "поддался моде" не я, а герой моей повести, которая ведется от первого лица, в виде дневника. Мне пришлось даже ломать себя, чтобы заставить говорить моего героя языком, для того времени характерным.

...Я захотел все свои находения вложить в повесть, дать в ней ответы на все мучившие меня вопросы. Но... ответы эти для того времени и для выведенного мною лица были совершенно нехарактерны. Это были именно только мои ответы, для себя". В то же время В.Вересаев подчеркивал, что "повесть... в известной степени отражает настроения тогдашней молодежи и составляет неотделимое звено в цепи моих повестей, отражающих душевную жизнь "хорошей" русской интеллигенции" (Там же).



Сама же идея "живой жизни" оставалась для него неизменно дорогой не только как теория, но и как практическое средство самовоспитания, укрепления в душе радостного отношения к миру. В одном из писем 1928 года он писал: "Эх, вся эта угрюмость, отчаяние, неприятие жизни, – как они вдруг становятся чуждыми и непонятными, когда человек начнет дышать чистым воздухом полей, моря или гор, когда солнце начнет горячо ласкать его обнаженную "кожу". Вот говорите Вы о "духе", когда одним лучом солнца можно перестроить всю душу человека и жизненно-страшное сделать смешно нестрашным. И как трудно утешать и поддерживать один "дух", когда ничем нельзя поддержать питающее его тело. И все-таки некоторым суррогатом может служить интенсивно осознанное убеждение, что страх и мрак жизни – не в ней самой, а в нашем восприятии. Мне лично иногда силою этой мысли удается встать выше идущего из нутра мрака и угрюмости". Б.Топиро, рассказывая о посещении В.Вересаева в 1940 году и о его философско-эстетических взглядах, писал: "Хорошо живет тот, кто

творит жизнь, – вот мое учение! – повторяет он по-русски это замечательное изречение Гете" ("В гостях у писателя В.В.Вересаева". – "Ленинское знамя", Петрозаводск, 1940, 22 сентября).

По свидетельству В.Вересаева, "до известной степени прототипом доктора Розанова" был брат А.В.Луначарского – Платон Васильевич Луначарский, который, будучи сосланным в Тулу, вел там в начале века революционную работу.

Готовя повесть "К жизни" для Полного собрания своих сочинений в изд-ве т-ва А.Ф.Маркс (т. 4, СПб., 1913), В.Вересаев сделал небольшую стилистическую правку, несколько сократил рассуждения о "Хозяине" и "Властителе", снял тринадцать заключительных эпизодов повести.

Печатается по изданию: В.В.Вересаев. Полн. собр. соч., т. VI. М., 1930.